Б И Б Л И О Т Е К А



№ 11 1987

ISSN 0132-2095



Андрей ***ПЛАТОНОВ***

ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ (МОРЕ ЮНОСТИ)

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 11

Андрей ПЛАТОНОВ

ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ

(Море юности)

ПОВЕСТЬ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Андрей ПЛАТОНОВ

Андрей Платонович Платонов (1899—1951) — выдающийся советский писатель. Его перу принадлежат повести «Епифанские шлюзы», «Город Градов», «Ямская слобода», «Сокровенный человек» и другие, романы, а также более сотни рассказов, пьесы, очерки, статьи. Литературное наследие Андрея Платонова прочно вошло в золотой фонд отечественной и мировой классики XX века.

Предлагаемая читателю повесть «Ювенильное море» опубликована в журнале «Знамя» в 1986 году.

День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза. Он воображал себя паровозным машинистом, летчиком воздухофлота, геологом-разведчиком, исследующим впервые безвестную землю, и всяким другим организованным профессиональным существом,— лишь бы занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца.

Он управился, уже на ходу, открыть первую причину землетрясений, вулканов и векового переустройства земного шара. Эта причина, благодаря сообразительности пешехода, заключалась в переменном астрономическом движении земного тела по опасному пространству космоса; а именно — как только, хотя бы на мгновение, земля уравновесится среди разнообразия звездных влияний и приведет в гармонию все свое сложное колебательно-поступательное движение, так встречает незнакомое условие в кипящей вселенной, и тогда движение земли изменяется, а погашаемая инерция разогнанной планеты приводит земное тело в содрогание, в медленную переделку всей массы, начиная от центра и кончая, быть может, перистыми облаками. Такое размышление пешеход почел не чем иным, как началом собственной космогонии, и нашел в том свое удовлетворение.

В конце пятого дня этот человек увидел вдалеке, в плоскости утомительного пространства, несколько черных земляночных жилищ, беззащитно расположенных в пустом месте.

Пока пешеход спешил к тому поселению, наступил сумрак, и в одном жилище зажгли свет.

Поселение оказалось усадьбой: вокруг большого двора стояли четыре землебитных дома и один большой бревенчатый сарай, обваленный по низу землей, в которых разные животные подавали свои голоса. Около сарая бегала на рыскале и бушевала от злобы собака.

На дворе повсюду пахло теплом животной жизни, вокруг лежала смирная смутная степь, нагретая дневным солнцем, и пришедший человек почувствовал добро здешней жизни и захотел спать.

В одном окне землебитного жилища горел огонь. Прибывший подошел к окну и увидел пожилого человека, который сидел около лампы и читал через очки старинную книгу в заржавленном, железном переплете. Он медленно шептал что-то тонкими усохшими губами и тяжко

вздыхал, когда переворачивал страницу, видимо, томясь своим впечатлением от чтения.

Пешеход вошел в низкую комнату и поздоровался со старым чтецом.

— Здравствуй,— не спеша ответил пожилой человек.— Совåться пришел?

— Нет,— сказал пришедший и спросил, что здесь такое.

— Здесь мясосовхоз нумер сто один,— сказал читавший книгу и, поглядев в страницу, прочитал оттуда какое-то очередное старое слово.— А тебе что нужно? Ты здесь, братец, со своими вопросами не суйся!

— А можно мне увидеть директора?— спросил прибывший.

— Можно,— ответил без охоты пожилой человек.— Гляди на меня — это я вот директор. А ты думал: директор здесь кто-то особенный — это же я!

Пешеход вынул бумагу и дал ее директору. В бумаге сообщалось, что в систему мясосовхозов командируется инженер-электрик сильных токов товарищ Николай Вермо, который окончил, кроме того, музтехником по классу народных инструментов, дотоле же он был ряд лет слесарем, часовым механиком, шофером и еще кое-чем, в порядке опробования профессий, что указывало на безысходную энергию тела этого человека, а теперь он мчится в действительность, заряженный природным талантом и политехническим образованием. Такова была приблизительная тема отношения, препровождавшего инженера Вермо в совхоз.

Прочитав документ, директор вдруг обрадовался и стал говорить с гостем на историческую, мировоззренческую и литературоведческую тему. Он любил все темы, кроме скотоводства, и охотно отдавал мысль любой далекой перспективе, лишь бы она находилась на сто лет впереди или на столько же назад.

Директор почувствовал теперь даже небольшое уважение к культурному служащему, ввиду того, что он не суется с мнениями, а сидит молча и слушает.

Животные давно перестали подавать голоса и задремали до рассвета в своих скотоместах. В землебитном домике, где сидели два человека, от лампы и высказанных слов стало душно, скучно, и Николай Вермо уснул на стуле против директора. Собака тоже умолкла к тому времени, не получая из степи отзвука на свою злобу, видимо, она смирилась с отсутствием врага и заснула в пустой тыкве, заменяющей ей будку. Эту тыкву совхоз вырастил год тому назад, чтобы показать ее на районной выставке, как экспонат агрономического усердия. И действительно, тыква получила премию, а затем из той тыквы выбрали внутренность и сделали из нее собачью будку, поскольку кухарки совхоза отказались обрабатывать для пищи такие слишком мощные овощи.

— Ты не видел нашей тыквы? — спросил директор у Вермо; но Вермо спал. — Ты бы глянул: великое растение! Полезная площадь нашей тыквы — половина квадратной сажени. У нас на дальнем гурте целых сто штук таких выдолбленных тыкв: в них спят доярки и гуртоправы. Я целый жилкризис этими тыквами решил... Ах, ты спишь уже? Ну спи, бедный человек, а я еще почитаю...

И директор снова углубился вниманием в старинную железную книгу, излагавшую историю Иоанна Грозного, приложив к задумавшейся, грустящей голове несколько пальцев правой руки.

Через полчаса прибывший молодой человек проснулся от неудобства и засмотрелся в лицо директора.

— Что вы такое? — спросил Вермо. — Я ведь, может быть, сумею отобразить вас в звуке: я музыке учился.

— Отобрази, — с польщением согласился директор. — Я Адриан Умрищев: я должен у тебя звучать мощно. Я ведь предполагаю попасть в вечный штатный список истории, как нравственная и разумно-культурная личность переходной эпохи. Поэтому ты сочини меня как можно гуще и веди по музыке басом. Я люблю оркестры!.. Ты что думаешь, — переменил голос Умрищев, — иль мне сподручно здесь сидеть среди животных?

— А разве нет? — удивился Вермо.

— Нет, — вздохнул Умрищев. — Я здесь очутился как «невыясненный»! Как выяснюсь, так исчезну отсюда навсегда. Ты можешь или нет сочинить в виде какого-либо гула тоску неясности?

— Могу наверно, — пообещал Вермо, чувствуя бред жизни от своей усталости и от этого человека.

Умрищев стал высказываться, как он долгое время служил по разным постам в дальних областях Союза Советов и Союза потребительских обществ, а затем возвратился в центр. Однако в центре уже успели забыть его значение и характеристику, так что Умрищев стал как бы неясен, нечеток, персонально чужд и даже несколько опасен. К тому же новая обстановка, сложившаяся за время отсутствия того же Умрищева, образовала в системе такое соотношение сил и людей, что Умрищев очутился круглой сиротой среди этого течения новых условий. Он увидел по возвращении незнакомый мир секторов, секретариатов, групп ответственных исполнителей, единоначалия и сдельщины, — тогда как, уезжая, он видел мир отделов, подотделов, широкой коллегиальности, мир совещаний, планирования безвестных времен на тридцать лет вперед, мир натопленных канцелярских коридоров и учреждений такого глубокого и всестороннего продумывания вопросов, что для решения их требуется вечность, — навсегда забытую теперь старину, в которой зрел некогда оппортунизм. Втуне вздохнув, Умрищев пошел в секторную сеть своего ведомства и стал выясняться; его слушали, осматривали лицо, читали шепотом документы и списки стажа, а затем делали озадаченные, напряженные выражения в глазах и говорили: «Нам все же что-то не

очень ясно, необходимо кое-что дополнительно выяснить и тогда уже мы попытаемся вынести какое-либо более или менее определенное решение». Умрищев ответил, что он вполне ясный ответработник и все достоверные документы при нем налицо. «Все же достаточной ясности о вас для нас пока не существует, будем пробовать пытаться выяснить ваше состояние»,— отвечало Умрищеву учреждение. Таким способом Умрищев был как бы демобилизован из действующего советского аппарата и попал в специальный состав невыясненных. В том учреждении, которое заведывало Умрищевым, невыясненных людей скопилось уже целых четыреста единиц, и все они были зачислены в резерв, приведены в боевую готовность и поставлены на приличные оклады. Раза два-три в месяц невыясненные приходили в учреждение, получали жалованье и спрашивали: «Ну как я, не выяснен еще?» — «Нет,— отвечали им выясненные,— все еще пока что нет о вас достаточных данных, чтобы дать вам какое-либо назначение,— будем пробовать выяснять!» Выслушав, невыясненные уходили на волю, посещали пивные, пели песни и бушевали свободными, отдохнувшими силами; затем они, собранные из разнообразных городов республики и даже из заграничной службы, шли в гости друг к другу, читали стихотворения, провозглашали лозунги, запевали любимые романсы,— и Умрищев, вспомнив сейчас то невозвратное время невыясненности, спел во весь голос романс в тишине мясного совхоза:

«В жизни все неверно и капризно,
Дни бегут, никто их не вернет.
Нынче праздник — завтра будет тризна,
Незаметно старость подойдет».

Когда-то невыясненные громадным хором пели этот романс в буднее время и вытирали глаза от слез и тоски бездеятельности. Именно этот романс они сердечно любили и гремели его во все голоса где-нибудь среди рабочего дня. После сборища невыясненные расходились кто куда мог: кто уже имел комнату, кто жил где-нибудь из милости, а наибольшее количество расходилось по отраслевым учреждениям своего ведомства; в этих учреждениях невыясненные ночевали и принимали любовниц,— один невыясненный успел уже настолько влюбиться в какую-то сотрудницу, что от ревности ранил ее после занятий чернильницей месткома. Кроме того, невыясненные звонили по казенным телефонам между собой, играли в шашки с ночными сторожами, читали от скорби архивы и писали письма родственникам на бланках отношений. По ночам невыясненные падали со столов, потому что видели страшные сны, а утром одевались поскорее до прихода служащих, выметали мусор и шли в буфет есть первые бутерброды. Когда же, бывало, вовсе ободняется, невыясненные шли в секторы кадров, к которым они были приписаны, и спрашивали замедленными голосами, уже боясь втайне,

что их наконец выяснили и предпишут назначение: «Ну как?» — «Да пока еще никак,— отвечает, бывало, сектор.— Вот у вас есть в деле справочка, что вы один месяц болели — надо выяснить, нет ли тут чего более серьезного, чем болезнь». Невыясненный уходил прочь и, чтобы прожить поскорее служебное время, когда его ночлежное учреждение заселено штатами, заходил во все уборные и не спешил оставлять их; выйдя же оттуда, читал сплошь попутные стенгазеты, придумывал свои мнения по затронутым вопросам, а иногда давал даже свою собственную заметку о каком-либо замеченном непорядке, как единичном явлении. Некоторые невыясненные состояли в своем положении по году; таким говорили, что вот уже скоро они поедут на работу: осталось только выяснить,— почему они не сигнализировали своевременно о какой-либо опасности отставания, когда еще были в прошлом на постах, или — почему ниоткуда не видно, что он не подвергался каким-либо местным взысканиям по соответствующим линиям,— нет ли здесь скрытых признаков кумовства: именно в том, что послужной список слишком непорочный. Невыясненный начинал уже серьезно и, главное, тоскливо сознавать, что он ведь действительно смутный, невыясненный и определенно пагубный человек: что-то в нем есть такое скрытое и вредное, объективно очевидное, а лично неизвестное. Он шел тогда с горя в бухгалтерию доказывать, что два месяца не пользовался выходными днями и, получив за них содержание, направлялся к друзьям и товарищам — пить пиво и петь романсы среди дня. Один из невыясненных уже настолько полюбил свою волю и безответственность, что когда его действительно куда-то назначили — сурово отказался. Он тихо сообщил про свою глубоко скрытую болезнь, которую он даже сам не чувствует, но которая, однако, в нем находится. Ему ответили, что скрывание болезни есть та же симуляция, а за симуляцию — суд; и этот невыясненный как бы сошел впоследствии немного с ума.

Сам Умрищев опростался от невыясненности лишь случайно: он вышел однажды в скучный день из учреждения и заметил, что некий человек звал взмахом руки машину. Машина к нему подъехала, и человек сел в нее для поездки. «Слушай,— сказал тогда Умрищев,— подбрось-ка и меня куда-нибудь».— «Почему?» — озадачился из машины человек. «Потому что я член союза, и ты член: мы же товарищи».Человек в автомобиле вначале задумался, а потом сказал: «Садись!»,— в дороге же он задумался еще более, точно вспомнил нечто простое и влекущее, как печной дым над теплым колхозом зимой.

Незнакомый человек привез Умрищева к себе в гости: жена-комсомолка дала обоим прибывшим обед и чай, а затем муж-начальник выслушал на полный желудок и сонную голову беду Умрищева. Жена при этом начала кустарно точить мужа, что он есть худший вид оппортуниста, что он потворщик рвачества и заражен гнилым либерализмом,— если так будет продолжаться, она не может с ним жить. Муж поник от чувствительного стыда, потому что в словах жены была существенная

правда, а на утро он дал Умрищеву назначение в мясосовхоз, чтобы человек довыяснился на практической работе. Заодно муж комсомолки разверстал весь резерв невыясненных и предал суду десять служащих своего ведомства, дабы они имели случай опомниться от своих дел. Вечером же, доложив жене, муж получил от последней тот ударный поцелуй, который он всегда предпочитал иметь.

Чем больше объяснял Умрищев свое течение жизни, тем грустнее становился Вермо; даже изо рта старика, благодаря его уставшему дыханию, выходила скука старости и сомнения. Светлые глаза Вермо, темневшие от счастья и бледневшие от печали, сейчас стали видными насквозь и пустыми, как несуществующие. Прибывший пешеход участвовал в пролетарском воодушевлении жизни и вместе с лучшими друзьями скапливал, посредством творчества и строительства, вещество для той радости, которая стоит в высотах нашей истории. Он уже имел, как миллионы прочих, предчувствие всеобщего будущего, предчувствие, наполнявшее его сердце избыточной силой,— он мог чувствовать даже мертвое, даже основную причину землетрясения и вулканических сил, но вот сидел перед ним старый человек, который не производил на него никакого ощущения, точно живший ранее начала летосчисления. Быть может, поэтому Умрищев с такой охотностью читал Иоанна Грозного, потому что ясно сознавал невзгоду своей жизни — ведь все враги сейчас сознательны — и глубоко, хотя и чисто исторически, уважал целесообразность татарского ига и разумно не хотел соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова.

Ночь, теряя свой смысл, заканчивалась; за окном землебитного жилища уже начал прозябать день, и небо покрылось бледностью рассвета: сырая и изможденная, всюду лежала еще ничем не выдающаяся земля, и лишь кое-где на ней стала шевелиться и вскрикивать разнохарактерная живность.

Вермо сидел неподвижно: он видел раннюю бледность мира в окне и слушал начинающееся смятение жизни. Однако это не был тот напев будущего, в который он беспрерывно и тщетно вникал,— это был обычный вековой шум, счастливый на заре, но равнодушный и безотрадный впоследствии.

Умрищев, потеряв интерес к гостю, снова приступил к своему медленному чтению старины, иногда улыбаясь какой-нибудь ветхой шутке, а иногда вытирая слезы сочувственной печали, тем более, что он встретил описание того грустного факта, как однажды, при воцарении Грозного, с неба пошел каменный и мелкозернистый дождь, отчего немало случилось повреждения тогдашнему историческому населению.

— Вот были люди и происшествия,— сказал Умрищев, утешаясь книгой, и стал читать вслух: «Царь Иван захотел однажды на святки, имея доброе самочувствие, установить в Китай-городе баловство пищей. Для чего он указал боярину Щекотову привесть откуда ни на есть в тот Китай-город до 70 сбитеньщиков, 45 харчевников, 30 крупенников, 14

обжарщиков и прочую пищевую силу по одному, либо по два человека на каждую сортовую еду. Но люди торговые и промысловые откупились от той милости, дабы не соваться в неиспытанное, а сговорились меж собой есть до смерти добрые домашние щи либо тюрю».— Умрищев здесь отринулся от чтения и довольно улыбнулся:

— Да у нас в один районный центр требуется больше пищевиков, чем во весь Китай-город: минималисты были черти — одну тюрю любили!

Николай Вермо уже давно соскучился с этим неясным человеком и встал, чтоб уйти прочь, тем более, что на дворе уже разгорался новый день, а здесь горела лампа.

— Ну, я пойду,— стеснительно сказал Вермо.— До свиданья.

— Ступай и не суйся,— ответил директор.— Чем старина сама себя пережила: она не совалась!.. Ступай, а то мне тоже вскоре надо поехать кой-куда: окоротить сующихся...

После ухода инженера Умрищев взял из-под стола следующую книгу и заинтересовался ею. Это была «Торговля пенькою в Шацкой провинции — в 17 веке». Он и пеньку любил, и шерсть, и пшено, и быт мещерских и мордовских племен в моршанском крае, и черное дерево в речных глубинах, и томленье старинных девушек перед свадьбой,— все это полностью озадачивало и волновало душу Умрищева; он старался постигнуть тайну и скуку исторического времени, все более доказывал самому себе, что вековечные страсти-страдания происходят оттого, что люди ведут себя малолетним образом и во всюду неустанно суются, нарушая размеры спокойствия.

* *
*

Вермо вышел на солнце и не спеша отправился через центральную усадьбу на дальние гурты. Босые доярки уже несли ведра с молоком, шагая по земле толстыми ногами; на пороге ночлежной горницы сидел пожилой пастух,— он ел что-то из чашки на коленях и посматривал на доярок, на незнакомого человека и на отдаленные пастбища, где ему придется пробыть весь день и много воображать, вследствие того, что пастуху на целине мало работы и все время думается разное в голову.

Вместе с Вермо из совхоза вышла молодая женщина и пошла с ним нечаянно рядом. Она была немного привлекательна, но, видимо, проста и доверчива, так как шла и рассматривала человека объективно, как вещь, еще не чувствуя к нему ни вражды, ни любезности. А Вермо уже стеснялся ее, как человек, у которого сердце всегда живет под напором скопившейся любви и который, не испытав еще, быть может, женщины, уже боится исчезнуть в неизвестном направлении собственной страсти, невнимательно храня себя для высшей доли. Но втайне, стесненным

сердцем, Николай Вермо мог любить людей сразу, потому что тело его было уже заранее переполнено безысходной жизнью. Он осмотрел в последний раз женщину — она была действительно сейчас добра и хороша: черные волосы, созревшие в жаркой степи, покрывали ее голову и приближались к глазам, блестевшим уверенным светом своего чувства существования; ее скромный рот, немного открытый (от внимания по постороннему) показывал прочные зубы, которые потемнели без порошка, и грудь дышала просторно и терпеливо, готовая кормить детей, прижать их к себе и любить, чтобы они выросли. Вермо возмужал от волнения, его стеснительность прошла, и он сказал женщине хриплым, не своим голосом:

— Как скучно бывает жить на свете!

— Отчего скучно? — произнесла женщина.— Нам тоже еще невесело, но уже нескучно давно...

Инженер остановился; спутница его также дальше не пошла, и он снова неподвижно рассматривал ее — уже всю, потому что и туловище человека содержит его сущность. Глаза этой женщины были сейчас ясны и осторожны; безлюдье лежало позади ее тела,— светлый и пустой мир, все качество которого хранилось теперь в этом небольшом человеке с черными волосами. Женщина молча стояла перед своим дорожным товарищем, не понимая или из хитрости.

— Скучно оттого, что не сбываются наши чувства,— глухо проговорил Вермо в громадном и солнечном пространстве, покрытом дымом пастушьих костров.— Смотришь на какое-нибудь лицо, даже неизвестное и думаешь: товарищ, дай я тебя поцелую. Но он отвернется — не кончилась, говорит, классовая борьба — кулак мешает коснуться нашим устам...

— Но он не отвернется,— ответила женщина.

— Вы, например? — спросил Вермо.

— Я, например,— сказала женщина из совхоза.

Вермо обнял ее и долго держал при себе, ощущая теплоту, слушая шум работающего тела и подтверждая самому себе, что мир его воображения похож на действительность и горе жизни ничтожно. Тщательно все сознавая, Вермо близко поглядел в лицо женщины, она закрыла глаза, и он поцеловал ее в рот. Затем Вермо убедился еще раз в истинности своего состояния и, сжав слегка человека, уже хотел отойти в сторону, сохраняя приобретенное счастье, но здесь женщина сама придержала его и вторично поцеловала.

— Суешься уже? — сказал огорченный и забытый голос со стороны.

Пока двое людей глядели только друг в друга, подъехал верхом третий человек — Умрищев и загодя засмеялся такому явлению: поцелуя в степи.

— Она мне очень понравилась! — ответил Вермо; и ему опять стало скучно от лица Умрищева.

— Ну и пускай понравилась, а ты не суйся! — посоветовал Умрищев.— Тебе нравится, а ты в сторону отойди,— так твое же добро целей-то будет: ты подумай...

— Проезжай, Умрищев,— сказала женщина.— На гурте доярка удавилась: я с тобой считаться иду!

— Ну-ну, приходи,— охотно согласился Умрищев.— Только в женскую психиатрию я соваться не буду.

— Я тебя сама туда всуну — обратно не вылезешь,— сказала женщина обещающим голосом.

— Не сунусь, женщина! — ответил Умрищев.— Пять лет в партии без заметки простоял — оттого, что не совался в инородные дела и чуждые размышления,— еще двадцать простою — до самого коммунизма без одной родинки проживу: успокойся, Босталоева Надежда!

Умрищев тут же уехал, а женщина, Надежда Босталоева, еще постояла, думая уже не о своем ближайшем товарище, а о мертвой доярке, но глаза ее были все такими же, как и во время дружбы с Вермо.

По дороге до гурта инженер узнал, что его попутная подруга работает секретарем гуртовой партячейки, и ей здесь тяжело, иногда мучительно, зачастую страшно, но она не может сейчас жить какой-либо легкой жизнью в нашей стране трудного счастья.

Босталоева шла впервые на этот гурт; до этого она работала на другом гурте, но теперь здесь стало слишком тяжко и сложно, прежний секретарь на здешнем гурте пал духом, и комитет партии послал сюда — в «Родительские Дворики» — Надежду Босталоеву, чтобы разбить и довести до гробовой доски действующего классового врага.

* *
*

Гурт «Родительские Дворики» находился в русле древней речки, высохшей лет тысячу назад. Два землебитных жилища составляли убежище гуртовщиков на зимнее время, а для укрытия от летнего ненастья лежали по окрестной степи громадные выдолбленные тыквы.

Судя по ландшафту, насколько хватало зрения, гуртовая база была расположена разумно и удобно: ровно и спокойно лежала земля на десятки видимых верст, как уснувшая навеки, беззащитная и открытая зимнему холоду и всем безлюдным ветрам; лишь по одному месту та земля имела впалое положение, и там было слабое затишье от вихрей непогоды,— это был след, прорытый древней и бедной рекой, теперь задутой суховеями, погребенной наносами до последнего ослабевшего источника, умолкшей навсегда. Но памятники, реки, в виде песчаных выносов, еще лежали на грунтовой усадьбе, и для их зарощения в песок были посажены прутья шелюги и чернотала, а между теми прутьями

и самородными лопухами лежали ночлежные пустые тыквы великого размера.

Посреди гуртового места находился срубовый колодезь, и две женщины-батрачки непрерывно вытаскивали ручной силой воду из глубины земли и относили ее в бак — для питья людям и животным.

Те «Родительские Дворики» имели списочное число коров — четыре тысячи; не считая быков, лошадей, волов и разной мелкой подспорной живности в форме кроликов, овец, кур и прочих существ. Стало быть, сам тот гурт составлял из себя уже мощный мясосовхоз и являлся надежным источником мясной пищи для пролетариата.

Когда Вермо и Босталоева только пришли на гурт, Умрищев там уже господствовал и проверял все элементы хозяйства, какие попадались ему навстречу. По сторонам Умрищева ходили два человека — заведующий гуртом зоотехник Високовский и старший гуртоправ Афанасий Божев.

— Вы должны вести себя как две мои частности,— говорил им Умрищев на ходу,— и бездирективно никуда не соваться.

— Нам это, Адриан Филиппович, понятно: обстановочка ведь суетливая! — охотно и даже счастливо отвечал Божев, а сам улыбался всем своим чистым и честным лицом, на котором приятно находились два благожелательных глаза степного светлого цвета.

Високовский молчал. Он любил скотину саму по себе и давно собирался уйти работать в область племенного животноводства, дабы воспитывать скот для рождения потомства, а не для убийства; он был худой по телу, может быть, потому, что больше ел молоко, прудовую рыбу, кашу и редко брал говядину, и знал свою науку с угрюмой точностью — видел в любом животном не только вес и продуктивность, но одновременно и субъективное настроение. За это его любили в скотоводческом объединении и платили ему большие средства, которые он, не имея родных, тратил на баловство любимой скотины; например, он приобретал шерстяной материал и сам шил чулки на зиму для кроликов, угощал быков солеными пышками, построил стеклянную теплицу печного отопления, с тем чтобы там росла зимой свежая кормовая трава для мужающих телят, которым уже надоело молоко,— и еще многое другое совершил Високовский ради любви своей к делу.

Меж тем Умрищев совершал свои замечания по гурту. Выйдя в пекарню, он отпробовал хлеба и сказал ближним подчиненным: «Печь более вкусный хлеб». Все согласились. Выйдя наружу, он вдруг задумался и указал Високовскому и Божеву: «Серьезно продумать все формы и недостатки». Божев сейчас же записал эти слова в свою книжку. Увидя какого-то человека, тихо шедшего стороною, Умрищев произнес: «Усилить трудовую дисциплину». Здесь что-то помешало Умрищеву идти дальше; он стал на месте и показал в землю: «Сорвать былинку на пешеходной тропинке, а то бьет по ногам и мешает сосредоточиться». Божев наклонился было, чтобы сразу уничтожить былинку, но Умрищев оста-

новил его: «Ты сразу в дело не суйся,— ты сначала запиши его, а потом изучи: я же говорю принципиально — не только про эту былинку, а вообще, про все былинки в мире». Божев спешно записал, а Височковский шел рядом, ничего не говоря и не делая. Вскоре на тропинку выбежал кролик и от внезапного ужаса не мог бежать, а стал на задние ноги, обратив лицо прямо к людям.

— Хорошее животное! — оценил Умрищев кролика.

— Да, оно ничего, оно милое, Адриан Филиппович! — согласился Божев.

Невдалеке показалась свинья; она подошла к Умрищеву и покрутила около него хвостом, что также понравилось Умрищеву, и он одобрил это животное.

Но зато, придя в служебный кабинет Високовского, Умрищев сразу почувствовал ярость. В самом деле — в кабинете было кругом нечисто, имелись следы и остатки каких-то огромных животных, точно сюда приходили по делам быки, пригибаясь в дверях; бумаги лежали под бутылками с мочой больных коров, стены не имели убранства и были покрыты разными итоговыми данными, и на стуле у стола сидел, как посетитель, подсвинок.

— Это ж государственная измена! — воскликнул Умрищев в кабинете.— Вы весь авторитет нашего руководства роняете вниз! — закричал он по направлению к Високовскому.— Вас скотина здесь не уважает, а вы целым штатом хотите руководить! За такие кабинеты надо вон с отметкой увольнять!

— Тише, начальник,— попросил Високовский,— говорите негромко: я вас услышу все равно.

— Вас бы надо гидрометеором по голове,— потише сказал Умрищев,— чтоб вы почувствовали что-то.

— Гидрометеор — это дождь, товарищ Умрищев,— равнодушно заявил Високовский.

— Я имею в виду тот дождь,— объяснил Умрищев,— который шел при Иоанне Грозном,— каменный, исторический дождь!

Вслед за тем Умрищев велел Божеву позвать гуртового кузнеца Кемаля, убогого глухонемого счетовода Тишкина, профуполномоченного, старушку Федератовну, а заодно и Босталоеву с явившимся зачем-то инженер-музыкантом. Умрищев любил иногда собрать, как родню, подчиненный аппарат в кучу и поговорить с ним по душам, не составляя повестки дня.

* *
*

Босталоева вошла в свое новое жилище, а Вермо остановился у входа. Это было временное общежитие, построенное из земли и покрытое для крепости дерном.

На правой половине земляной горницы лежали во сне усталые доярки и телятницы, а налево храпели пастухи, водоносы, колодезники, случники, студенты-ветеринары и прочие профессии; некоторые же сидели на земляном полу и писали письма далеким товарищам или читали книги, чертили изображения и думали, облокотившись на руку.

Тут же, в сенях общежития, на большом столе для кружковых занятий, лежал мертвый человек. Он был покрыт красным сукном, но одна небольшая старая женщина приоткрыла сукно у изголовья мертвеца и гладила свободной рукой чье-то остывшее лицо.

— Это Айна? — спросила Босталоева у той усталой женщины.

— Да то кто же! — раздражительно ответила боченковидная старушка и обернулась своим лицом, похожим на блюдцеобразное озеро.

Вермо подошел со стороны и загляделся на покойницу. Смуглая девушка, наверно, киргизка, лежала навзничь с постаревшим грустным лицом и открыла рот от последней слабости. Босталоева приподняла покрывало на покойнице и стала ощупывать своей рукой тело Айны, будто разыскивая следы смерти и тайное место гибели человека. Инженер так же близко наклонился над скончавшейся; он увидел опухшее от женственности тело, уже копившее запасы для будущего материнства, и терпеливые рабочие руки, без силы сложенные на животе; Вермо разглядел полотно рубашки, которое повсеместно выдавали ударницам, и почувствовал запах еще сохранившегося пота и прочих отходов уже умолкшей, трудной жизни; но смерти нигде не было заметно.

Тогда Босталоева отвернула ворот на горле Айны, и все увидели темный запекшийся рубец вокруг шеи, — след от бечевы, которая перерезала гортань и сожгла дыханье этой девушки.

Здесь пришел Афанасий Божев и позвал Босталоеву с инженером на совещание.

— Ведь миллиарды разных людей умерли бесполезно, — сказал Божев. — Что же вы одну-то стоите жалеете! Мало ли на свете жителей осталось!.. Жалейте хоть меня, если в вас гнилой либерализм бушует!

— Всех жалеть не нужно, — заявила старушка, бывшая тут, — многих нужно убить...

Сказав это, пожилая рабочая отвернула от горя свое лицо, и все промолчали, не понимая значения ее речи, а потом ушли на гуртовое совещание.

Когда Божев привел Босталоеву и Вермо, Умрищев уже давно говорил, сам не понимая о чем, а только чувствуя что-то доброе. Он развивал перед присутствующими различные картины мероприятий, например, предполагал так организовать все гуртовые работы, чтобы каждый уж молчал постоянно, делал по раз запущенному порядку свое узкое, мирное дело и ни во что не совался.

— Каждому трудящемуся надо дать в его собственность небольшое царство труда — пусть он копается в нем непрерывно и будет вечно счастлив,— развивал Умрищев вслух свое воображение.— Один, например, чистит скотоместа, другой чинит по степи срубовые колодцы, третий пробует просто молоко — какое скисло, какое нет,— каждый делает планово свое дело, и некуда ему больше соваться. Я считаю, что такая установка даст возможность опомниться мне и всему руководящему персоналу от текущих дел, которые перестанут к тому времени течь. Пора, товарищи, социализм сделать не суетой, а заботой миллионов.

Собрание молчало; старушка Федератовна уже загорюнилась, облокотившись на коричневую руку; она знала, что ей думать, и глядела на Умрищева, как на подлого.

— Что здесь такое? — спросила Босталоева.— Что мы обсуждаем и какая повестка дня?

— Я ничего не понимаю,— со сдержанной враждебностью объяснил Високовский.— Обратитесь к товарищу директору: он должен знать.

Високовский, презирая Умрищева, начинал распространять свое холодное чувство уже гораздо шире, может быть на весь руководящий персонал советского скотоводства. Босталоева это поняла.

— А теперь слушайте меня дальше,— говорил Умрищев.— Есть еще разные неопределенные вопросы, изученные мною по старинной и по советской печати. У грабарей дети рождаются весной, у вальщиков среди лета, у гуртоправов к осени, у шоферов зимой, монтажницы отделываются к марту месяцу, а доярки в марте только починают: поздно-поздно, голубушки, починаете — летом носить ведь жарко будет!..

— Да что ты скучаешь-то все, батюшка; то жарко, то тяжко,— осерчала старушка,— да мы вытерпим!

Умрищев только теперь обратил свой взгляд на ту старушку, и вдруг все его задумчивое лицо сделалось ласковым и снисходительным.

— Стару-у-шка! — сказал он с глубоким сочувствием.

— Стари-чок! — настолько же ласково произнесла старушка.

— Ты что ж, существуешь?

— А что ж мне больше делать-то, батюшка? — подробно говорила старушка.— Привыкла, и живу себе.

— А тебе ничего, не странно жить-то?

— Да мне ничего... Я только интервенции боюсь, а больше ничего... Бессонница еще мучает меня — по всей республике громовень, стуковень идет, разве тут уснешь!

Здесь Умрищев даже удивился:

— Интервенция?! А ты знаешь это понятие? Что ты во все слова суешься?..

— Знаю, батюшка. Я все знаю — я культурная старушка.

— Ты, наверно, Кузьминишна?! — догадывался Умрищев.

— Нет, батюшка,— ответила старушка,— я Федератовна. Кузьминишной я уже была.

— Так ты, может, формально только культурной стала? — несколько сомневался Умрищев.

— Нет, батюшка, я по совести,— ответила Федератовна.

Умрищев встал на ноги, сердечно растрогался.

— Дай я тебя поцелую!

— Нежная моя, научная старушка! — говорил Умрищев, целуя Федератовну несколько раз.— Никуда ты не совалась, дожила до старости лет и стала ты, как боец, против всех стихий природы!

— И против классового врага, батюшка! — поправила Федератовна.— Против тебя, против Божева Афанаса и против еще каких-нибудь, кто появится... Я ведь все кругом вижу, я во все суюсь, я всем здесь мешаю!..

— Говори, бабушка,— обрадованно попросила Босталоева.— У нас повестки дня нету, а ты факты знаешь!

— Да то, ништ, я фактов не знаю! — медлила Федератовна.— Я всю республику люблю, я день и ночь хожу и щупаю, где что есть и где чего нету... Да без меня б тут давно мужики-единоличники всех коров своих гнусных на наших обменяли, и не узнал бы никто, а кто и проведал бы, так молчал уж: ай кому жалко нашу федеративную республику?! Ему себя жалко!

Босталоева в тот час глядела на Николая Вермо; инженер все более бледнел и хмурился — он боролся со своим отчаянием, что жизнь скучна и люди не могут побороть своего ничтожного безумия, чтобы создать будущее время. Когда начал говорить Божев,— задушевно, с открытым и правдивым лицом и с милыми глазами, светящимися пролетарской ясностью,— Вермо заслушался одних звуков его голоса и был доволен, но потом, когда почувствовал весь смысл хитрости Божева, то отвернулся и заплакал. Федератовна, бывшая близко, подошла к инженеру и вытерла ему глаза своей сухой ладонью.

— Будет тебе,— сказала старушка,— иль уж капитализм наступает: душа с советской властью расстается. Мы их кокнем: высохни глазами-то.

Собрание сидело в озадаченном виде. Одна Босталоева улыбнулась и захотела узнать, в чем Умрищев и Божев каются: ведь обвинение их бабушкой Федератовной голословно, она, может быть, недовольна не классовыми фактами, а лишь старостью своих лет.

Божев в молчаливом обозлении сжал зубы во рту: он сразу понял, какую мучительную ошибку он совершил, испугавшись обвинения старухи из ее щербатого рта — ведь действительности никто здесь не знает. Умрищев же думал безмолвно для самого себя: «Всю жизнь учился не соваться, а тут вот сунулся с покаянием — и пропал! Ну кто тебе директиву соваться дал — скажи, пожалуйста: кто? Жил бы себе молча и убого, как остальные два миллиарда живут!»

Божев, засмеявшись, предложил всем перейти к текущим делам, поскольку бабушка Федератовна отлично понимает, что единственным желанием его и Умрищева было доставить удовольствие заслуженной совхозной бабушке и, стало быть, не прекословить ей. Это же ясно — то ведь было предпринято ради уважения к трудовому стажу Федератовны, но вовсе не ради какой-либо идейной серьезности. Умрищев же уныло промолвил, что ошибиться он давно не может, поскольку для оперативного свершения ошибки надо все же сунуться куда-то или во что-то, а он давно уже ни до чего не касается, особенно до вопросов мировоззренчества.

— Товарищи, на дворе, пока мы сидим, наступил тем временем вечер,— сказал в заключение Умрищев.— Посмотрите, как это довольно хорошо. Посмотрите затем на эту советскую старушку (он показал на Федератовну), разве это не вечер капитализма, слившийся на севере с зарей социализма? И разве не приятно сказать нашей Федератовне, этой доброй тетушке всего будущего и теще всего прошлого, словесную милость? Пусть она утешается по-пустому на старости лет!

Здесь Федератовна как была так и схватила Умрищева за отросшую бороду, на что Умрищев даже не вскрикнул, решив уже претерпеть все это, как самую дешевую муку, а Божев моментально обнял всю старушку — с одной стороны для ласкового успокоения, с другой — для защиты Умрищева. Но Федератовна, обернувшись, хлестнула ладонью по лицу Божева, и он не посмел обидеться. Ночью же, учтя эпоху, Божев уничтожил все ночлежные тыквы, чтобы улучшить тем самым свое политическое положение и ослабить очередную невзгоду жизни.

* *
*

На следующий день доярку Айну понесли в гробу два выходных пастуха. За ее гробом шла подруга — профуполномоченная, провожавшая тело, несмотря на неплатеж Айной членских взносов, тут же находился кузнец Кемаль, вздыхавший все время от какой-то нечленораздельной силы, затем двигался Умрищев с Божевым и в стороне ото всех шла Надежда Босталоева, держа за руки Мемеда, малолетнего брата Айны. Впереди гроба шел Вермо. Один скотник имел хроматическую гармонию и дал ее Вермо, чтобы музыка сопровождала погибшую.

До могилы было далеко — версты две; друг Айны, кузнец Кемаль, выбрал для погребения сухое песчаное место и вырыл там могилу, чтобы девушка побольше пролежала целой.

Когда вышли подальше, Николай Вермо сыграл по слуху Апассионату Бетховена; в течение игры он чувствовал радость и победу и желая отомстить всему миру за беззащитность человека, которого несли мертвым следом за ним. Существо жизни, беспощадное и нежное, волнова-

лось в музыке, оттого что оно еще не достигло своей цели в действительности, и Вермо, сознавая, что это тайное напряженное существо и есть большевизм, шел сейчас счастливым. Музыка исполнялась теперь не только в искусстве, но даже на этом гурте — трудом бедняков, собранных изо всех безнадежных пространств земли.

С пустого неба солнце освещало землю и шествие людей; белая пыль эоловых песков неслась в атмосферной высоте — вихрем, которого внизу было не слышно,— и солнечный свет доходил до земной поверхности смутным и утомленным, как сквозь молоко. Жара и скука лежали на этой арало-каспийской степи; даже коровы, вышедшие кормиться, стояли в отчаянии среди такого тоскливого действия природы, и неизвестный бред совершался в их уме. Вермо, мгновенно превращавший внешние факты в свое внутреннее чувство, подумал, что мир надо изменять как можно скорей, потому что и животные уже сходят с ума. В этом удручении Вермо спросил у Босталоевой, что ей представлялось, когда он играл.

— Мне представлялась какая-то битва,— как мы с кулацким классом, и музыка была за нас! — ответила Босталоева.

Вермо сыграл далее свое сочинение, заключавшее надежду на приближающийся день жизни, когда последний стервец будет убит на земле. Вермо всегда не столько хотел радостной участи человечеству,— он не старался ее воображать,— сколько убийства всех врагов творящих и трудящихся людей.

Поэтому его музыка была проста и мучительна, близкая по выразительности к произношению яростных слов. Одна пьеса Вермо такой и была, и он сыграл ее, когда гроб поднесли к степной песчаной могиле. Умрищев и Божев не понимали музыки Вермо; они думали, что эти звуки имеют горестное значение, и понемногу плакали из приличия.

Около открытой могилы уже сидела Федератовна и смотрела внутрь земли. Она смерти не боялась, ей только было удивительно — куда же денется ее активная сила, если придется умереть, и кто будет болеть тогда старой грудью за совхозное дело.

— А ты что ж мало плачешь-то? — спросила она у Божева.— Ишь какой сухой весь пришел!

— Ветер слезы сдувает, Мавра Федератовна,— объяснил Божев.

— Ветер? — удивилась Федератовна.— А ты отвернись от него на тихую сторонку и плачь!..

Божев отвернулся и посилился добавочно поплакать, гладя свое лицо со лба вниз, но Федератовна, обождав, подошла к нему, провела рукой по лицу, попробовала слезную влагу Божева на язык и обнаружила:

— Разве это слезы? Они же не соленые! Ты пот со лба на глаза себе сгоняешь, ты вон что надумал, кулацкий послед!

— Ей богу, это слезы, Мавра Федератовна,— увещевал Божев,— у тебя язык не чует.

— У меня-то не чует? — допытывалась Федератовна.— А если бы и чуял, так я своему языку не поверю, я только уму своему верю да партии большевиков!..

Айну в тот момент положили на край могилы. Все прибывшие люди стояли вокруг покойной и смотрели в ее лицо, уже снедаемое ветхими силами смерти, старое, как у Федератовны.

— Прощай, дочка! — сказала Федератовна и, согнувшись, поцеловала Айну, и видно было, как тело старухи стало изнемогать от немощи, от забот и от злости к действующему, живому врагу.

Надежда Босталоева расцеловала девушку-киргизку страстно и несколько раз, а Умрищев только коснулся рукой ее лба и произнес: «Что ж тут горевать или поражаться: смерть всегда присутствует в текущих делах истории!»

Вермо попрощался с Айной предпоследним; целуясь с умершей, он подумал, что, если б она осталась жива, он мог бы жениться на ней. Афанасий же Божев припал к Айне в последнюю очередь и зарыдал над ней искренним голосом.

— Это он от страха старается: горя в нем нету! — определила Федератовна страдание Божева.

Но Божев поднял лицо кверху, и все увидели на нем открытую печаль. Кузнец Кемаль спустился в могилу, и ему подали гроб; Кемаль уложил получше гроб в земле и прибил крышку, навеки отделив умершую от ее врагов и товарищей, от всей будущей жизни, которую Айна хотела, как девушка и комсомолка.

Брат Айны Мемед, не горевавший по сестре, потому что она стала для него страшная и чужая, подошел к Божеву и сказал ему:

— Дядь, на ней твоя веревка осталась. Она кругом пуза завязана. Ты ее лучше возьми.

Кемаль сейчас же вскрыл гроб и развязал у покойной пояс. Это была крученая бечева, какие применяют для кнутов. Кемаль тут же отдал эту бечеву Божеву и закрыл гроб вторично.

— Ей больно было, а ты ее бил — равнодушно сказал Мемед Божеву, глядя на крученую бечеву.— Она взяла и умерла, а ты с веревкой остался!

* *
*

На гурт «Родительские Дворики» прибыло много народа. Москвич, член правления Скотоводобъединения, и худой секретарь недалекого райкома партии повели так называемое глубокое обследование всего мясосовхоза; Умрищев же был на воле и давал начальству такие объяснения, которыми старался поставить всех в тупик.

— Был ли на совхозе распространен ваш лозунг «а ты не суйся!»? — спрашивал Умрищева секретарь райкома.

— Был, конечно,— охотно отвечал Умрищев; чем вопрос был опасней, тем Умрищев добрее и подробней отвечал на него.— Вот Божев сунулся к Айне — ее погубил и сам пропал. Этот лозунг, дорогой товарищ, идет по всему свету еще от Иоанна Грозного, а Грозный ведь был глубокий человек: ты возьми данные истории! Желаешь, я тебе предложу кое-что для чтения?

— Не желаю,— говорил секретарь.— Вы мне скажите другое: сколько ежедневно пропадало молока в совхозе? Сколько у вас выдаивалось из совхозных коров молока руками окрестных кулаков и зажиточных единоличников? Можете ответить?

— Ну, еще бы! — сообщал Умрищев.— Наша старушка Федератовна совалась, вот, повсюду и говорила мне, что ведер тысячу. А если б она не совалась, то и до тебя бы дело не дошло и вопроса такого бы не стояло.

— Хорошо,— спокойно произносил секретарь, безмолвно борясь со своим сердцем.— Сколько племенных совхозных коров кулаки обменяли на свой беспородный скот? При содействии Божева, конечно!

— Я в этот счет не вмешивался,— с точностью отвечал Умрищев.— Я вел глубокую тактику и довольно принципиальную политику. А именно: пускай хоть кулаки, хоть бедняки, хоть кто, поменяют немножко своего скота на наш. Кулака раскулачат, бедняк войдет в колхоз — и все совхозное племя попозже или пораньше все равно очутится в обобществленном секторе. А вот в этом-то и скажется доброе, хозяйственное и ведущее влияние совхоза на колхозную прицепку! Тебе теперь понятно?

— Вы подлец и дурак,— тихо сказал секретарь, бледнея от сдерживаемого страдания,— кулак порежет наш племенной скот, а ваш беспородный скот принесет нам одни убытки и повальные болезни.

— Какой это ваш и какой это мой скот? — спросил Умрищев.— Я имею собственность только в виде идейных мыслей, а не коров, я ношу при себе билет члена партии! Ты, брат, особо-то не суйся!

— Вы правы,— говорил секретарь,— билет члена партии вы носите при себе. Но я не прав, что сволочь его носит!

Умрищев вскочил во весь рост, желая как можно мужественней возмутиться, но вдруг икнул два раза подряд от нервного страха и заикал далее беспрерывно.

— Это я... книг начитался. Это я... исторически хочу... Ты гляди на меня, как...

— Как на икающего оппортуниста,— сказал секретарь.

— Хоть бы... так,— икая, соглашался Умрищев.

— Как на второго убийцу киргизской девушки и как на кулацкого мерзавца!

Здесь Умрищев позабыл икнуть очередной раз и вовсе освободился от икоты.

Секретарь райкома отвел глаза на маленькое окно гуртовой избы и что-то подумал о летнем дне, блестевшем за стеклом. Он вообразил красоту всего освещенного мира, которая тяжко добывается из резкого противоречия, из мучительного содрогания материи, в ослепшей борьбе,— и единственная надежда для всей изможденной косности, это пробиться в будущее через истину человеческого сознания — через большевизм, потому что большевизм идет впереди всей мучительной природы и поэтому ближе всех к ее радости; горестное напряжение будет на земле недолго. Секретарь райкома вспомнил затем Надежду Босталоеву, чьи черные таинственные волосы, скромный рот и глаза, в которых постоянно стоит нетерпеливое искреннее чувство, создавали в секретаре странное и неосновательное убеждение, что эта женщина одним своим существованием показывает верность линии партии, и вся голова, туловище, всякое движение Босталоевой соответствуют коммунизму и обеспечивают его близкую необходимость; Босталоева бы умерла при торжестве кулачества или мелкой буржуазии. Но секретарь был приучен большевизмом к беспощадному разложению действительности, и он сказал самому себе, не обращая внимания на Умрищева:

— Я, наверно, субъективно люблю Босталоеву и наряжаю ее в идеологическое подвенечное платье... Я опоздал,— ее надо давно назначить на гурт, пусть она покажет себя в действии, и я полюблю ее сильнее или разлюблю совсем...

Умрищев тем временем настолько обозлился на все сущее, что решил уехать в дальний сибирский район, сделаться там секретарем и основать районное негласное оппортунистическое царство, в форме Руси Иоанна Грозного или мещерского племени: все равно ничего не будет, пускай хоть покой обоснуется в отдаленном месте, а прожить можно одним пеньковым промыслом, или даже не евши, чем так теоретически мучиться.

— Как теперь партия? — спросил Умрищев: — наверно, разлюбит меня?

— Очевидно,— сказал секретарь и послал его к прокурору, который уже давно ожидал Умрищева где-то на завалинках гурта.

— Ну, тогда я соваться начну! — пообещал Умрищев.— Как-нибудь она меня полюбит! — и ушел.

Как только завечерело, секретарь начал пить чай и позвал к себе Босталоеву с мальчиком Мемедом, чтобы угостить их чем-нибудь сладким. Федератовна же пришла по своей доброй воле и начала причитать беспрерывно, что районная контора задерживает контингенты стройматериалов для совхоза, что переводы кредитных лимитов опаздывают, что среди пастухов слаба культработа и малозаметно самозакрепление. При этом она плакала горючими слезами, так как у нее серьезно болело сердце, и запивала чаем потерю своих сил. Вспомнив об Айне, она уже

не могла нагореваться: ведь было же четко и ясно, что Божев — классовый враг, отчего она не поверила своему предчувствию, своему ноющему сердцу, а ждала фактов, либеральничала и объективно помогала совершиться смерти.

— Бабка — дура,— сказал Мемед.— Всегда плачет и всегда живет. Сестра не плакала, а умерла...

— Я тебя в ясли завтра отдам: у подкулачников брехать научился! — сказала старуха.

— Там страшно,— произнес мальчик.

— А чего тебе страшно там? — спросила Босталоева.

— Там старик с бородой, как картина, висит,— сказал Мемед.— Бабкин жених...

Секретарь и Босталоева поняли мысль ребенка и засмеялись, а Федератовна обиделась на Карла Маркса, хотя секретарь уверял ее, что и Маркс бы улыбнулся сейчас.

— Ты знаешь, отчего умерла твоя сестра? — спросил секретарь у Мемеда.

— Бабка говорила — от нее,— ответил Мемед,— у бабки бдительность пропала. А сестру Афанас измучил, не бабка.

Мальчик представлял сестру с живостью всех фактов ее мучения. Она жила тогда за десять верст от гурта, в землянке у дальнего пастбища. Божев приезжал туда верхом на лошади и с кнутом, а доярки и Айна с ними, в бане не мылись, горячего к обеду не варили и спали от работы мало. Но Айна не горевала, потому что хотела сделать социализм, только чесала под рубашкой ногтями. Божев приезжал на коне, ел пышки из своего мешка и забирал с собою пастухов,— оставил только одного на пятьсот коров с быками. На ночь стадо расходилось без пути, пастух засыпал, а утром плакал нарочно, как будто от страха и горя, потому что в стаде начали пропадать полные красные коровы и являлись худые или мелкие, которые жрали и не росли,— молока же давали по четыре кружки. Именные быки тоже скрылись куда-то, а пришли незнакомые,— они ходили скучные и худые, и совхозные коровы их били, а неизвестные быки молчали. Айна не стала спать, вышла на ночь пасти стадо, ходила в темноте и узнала, что приезжали верховые мужики, пригоняли своих коров с быками и угоняли совхозных. Айна ходила за чужими людьми следом, дошла до степных хуторов и возвратилась. Потом она пошла на гурт за людьми и ружьями, но ее встретил Божев и вернул обратно: «Ты,— говорит,— бежать от стада хочешь, ты летунья, ты врешь, я сам считаю коров по списочному числу». Когда сосчитал, оказалось верно. Божев изругал Айну: «Тебе замуж надо, ты бесишься, все коровы целы, разве ты помнишь все пятьсот коров в морду?»

— Помню,— сказала Айна и побежала из стада на гурт. Божев дал ей время побежать, а потом нагнал и бил кнутом, как летунью, которая срывает планы прокормления рабочих и служащих.

Айна упала, Божев ее взял и привез. Скоро Божев прислал нового пастуха, потому что старый пастух пропал вместе с десятью коровами и маточным быком; новый пастух угонял стадо далеко и приводил его к вечеру без молока. Айна была умная и узнала, что кулацкие и зажиточные жены выдаивают коров вдалеке. Она тайно добежала до директора Умрищева, но Умрищев сказал ей: «Не суйся, работай под выменем, чего ты все бесишься?»

Айна не вернулась в стадо, а пошла в районный комитет партии. К ней пристали еще две подруги-доярки, которые бежали навсегда от жизни в степи, Айна же шла по делу. Божев скакал за ними полдня; доярки прятались, но Божев разглядел их с лошади и опять бил Айну кнутом, как кулацкую девку, которая срывает дисциплину и уводит рабочую силу. Айна говорила ему, что идет выходить замуж за тракториста, Божев же спросил у нее отпускной талон и снова рубцевал, что не было талона. Однако двух других доярок Божев не задержал, и они убежали, довольные, что спаслись, и пропали бесследно. Когда Божев остался с Айной один в пустых местах, он вдруг весь осознался и стал напуганным. От страха смерти, которая достанется ему за порчу батрачки, Божев вдруг полюбил Айну. Он задумал так сильно и искренне обнять Айну, чтобы его любовь дошла к ней до сердца, и она бы за все простила ему и согласилась быть женой. Он стал добрым, плакал до вечера у бедного подола Айны, обнимал ее измученные ноги и бегал в истоме по песчаным барханам. Айна все время не давалась ему, потом опять пошла дальше в район. Но Божев вновь достиг ее и шел за ней молча, бросив лошадь, а вечером изувечил ее, когда Айна усталая и измученная легла на землю. Айна схватила Божева за горло, когда была под его тяжестью, и душила его, но сила клокотала в горле Божева, он не умер, а сестра Мемеда ослабела и заснула. Наутро Божев оправил оборванную Айну, отыскал лошадь, подпоясал доярку бечевой от своего кнута и повез женщину на гурт, все время искренно лаская доярку за плечи, а встречным людям говорил, что он на ней скоро женится, так как полюбил. Айна стала смирная; ей дали два выходных дня подряд, и она, обмывшись в бане, ходила по полю с Мемедом и так целовала брата, что плакала от своей жалости и нежности к нему. Потом она сказала Мемеду, как большому, все, что было, и ушла за конфетами в совхозный кооператив. Целую ночь она не приходила, а после ночи увидели, что она висит мертвая на постройке колодца и под ногами у нее лежит кулек с конфетами и зарплата за четыре месяца.

* *
*

Божева осудили и увезли в городскую тюрьму. Там его вывели однажды во двор и поставили к ограде, сложенной из старого десятивершкового кирпича; Божев успел рассмотреть эти ветхие кирпичи, ко-

торые до сих пор еще лежат в древних русских крепостях, погладил их рукой в своей горести — и вслед за тем, когда Божев обернулся, в него выстрелили. Божев почувствовал ветер, твердою силой ударивший ему в грудь, и не мог упасть навстречу этой силе, хотя и был уже мертвым; он только сполз по стене вниз.

Умрищев же сумел убедить кого-то в районном городе, что он может со временем, по правилам диалектического материализма, обратиться в свою противоположность; благодаря этому его послали работать в колхоз, ограничившись вынесением достаточно сурового выговора. В колхозе же, расположенном невдалеке от «Родительских Дvориков», Умрищев стал поступать наоборот своим мыслям: как только что надумает, так вспомнит, что его природа — это ведь оппортунизм, и совершит действие наоборот; до некоторого времени названные обратные действия Умрищева имели успех, так что бывшего директора колхозники выбрали своим председателем. Но впоследствии Умрищева ожидала скучная доля, о которой в свое время стало известно всем...

* *
*

Уезжая, член правления скотоводного треста и секретарь райкома определили гурту «Родительские Дворики» быть самостоятельным мясосовхозом, а директором нового мясосовхоза назначили Надежду Босталоеву, носящую в себе свежий разум исторического любопытства и непримиримое сердце молодости.

В помощницы себе Босталоева взяла Федератовну, а Николая Вермо назначила главным инженером совхоза. Зоотехник Високовский пришел к Босталоевой в землянку и вежливо, тщательно скрывая свою производственную радость, поздравил Босталоеву с высоким постом. Он надеялся, что эволюция животного мира, остановившаяся в прежних временах, при социализме возобновится вновь и все бедные, обросшие шерстью существа, живущие ныне в мутном разуме, достигнут судьбы сознательной жизни.

— Теперь засыпается пропасть между городом и деревней,— сказал Високовский,— коммунистическое естествознание сделает, вероятно, из флоры и фауны земли более близких родственников человеку... Пропасть между человеком и любым другим существом должна быть перейдена...

— Будет еще лучше,— обещала Босталоева.— Самая далекая ваша мечта все равно не опередит перспектив нашей партии... Между живой и мертвой природой будет проложен вечный мост.

Високовский ушел и на совхозном подворье подхватил и унес к себе своего любимого подсвинка.

Босталоева разобралась в планах и директивах, а затем позвала к себе Вермо и Федератовну.

— Вермо,— сказала она.— В прошлом году «Родительские Дворики» поставили пятьсот тонн мяса, в этом году нам задали тысячу тонн, а поголовье увеличивается процентов на двадцать, потому что мало пастбищ и мало воды...

Вермо улыбнулся.

— Мы должны выполнить, Надежда,— ответил инженер.— Москва вызывает нас на творчество, нормальной мещанской работой взять такого плана нельзя, значит, в центре доверяют нашим силам...

— Партия слишком уж любит массы,— сказала Федератовна,— оттого она и ценит так ихний ум. Без ума этот нам план сроду не взять!

— Мы поставим три тысячи тонн говядины,— высказалась Босталоева,— мы не только трудящийся, мы творческий класс. Правда ведь, товарищ Вермо?

Инженер молчал; он воображал великий расчет партии на максимального человека массы, ведущего весь класс вперед,— тот же расчет, который имел сам Ленин перед Октябрем месяцем семнадцатого года.

— Да то, ништ, не правда?— ответила Федератовна.— Уже дюже массы жадны стали на новую светлую жизнь: никакого укороту им нету!

Вермо ушел в полынное поле и только что приготовился подумать о выполнении огромного плана, как ему в лицо подул дальний ветер с запахом горелой соломы. Инженер почувствовал, что этот ветер ему знакомый — ветер не изменился, изменилось и выросло лишь тело Вермо, но и в глубине его тела осталось что-то маленькое неизменное,— то, чем вспомнил он сейчас этот теплый ветер, пахнущий дымом далеких печек, второй раз в жизни подувший ему в лицо из дальних мест. Вермо обратился к самому себе и ощутил свое сердце, все более наполняющееся счастьем,— так же, как в детстве тело наливается зреющей жизнью. Когда же дул этот ветер в первый раз в лицо Вермо? Он обернулся на «Родительские Дворики». Там робко дымила одна печная труба,— это кухонные мужики растопляли кухню для обеда; шло лето, грусть роста и надежды на еще несбывшееся будущее расстилалась по неровному миру,— это уже чувствовал Вермо когда-то, в свой забытый день. Над «Родительскими Двориками» не хватало мельницы, мелющей зерно: такая мельница была в родном месте Вермо, где он вырос и возмужал. И еще не было в совхозе такого дома, где бы тебя всегда ожидали,— не было отца и матери,— но зато в совхозе была Босталоева, Федератовна, Високовский, а мельницу можно построить... Вермо вспомнил летний день детства на окраине родины — маленького города — и этот ветер, который нес тогда дым жизни далеких и незнакомых людей.

Мельницу же в «Родительских Двориках» надо построить теперь же. Сила ветра будет качать сейчас воду из колодца, а осенью и зимою, когда дуют самые плотные ветры, сила воздушного течения будет отапливать помещения для скота, где целых полгода зябнут и худеют коровы. Пусть теперь степной ветер обратится в электричество, а электричество начнет греть коров и сохранит на них мясо, сдуваемое холодом

зимы: скучную силу осеннего ветра и зимнюю пургу, поющую о бесприютности жизни, наступило время превратить в тепло, и во вьюгу можно печь блины.

Вечером Вермо сказал Босталоевой, как нужно отопить совхоз без топлива. Босталоева позвала Високовского, Федератовну, кузнеца Кемаля, еще двоих рабочих, и все они прослушали инженера.

Кемаль заключил, что дело ветряного отопления безубыточное,— он сам думал о том, только, не зная электричества, хотел, чтоб ветер вертел и нагревал трением какие-либо бревна или чурки, а чурки тлели бы и давали жар; однако это технически сумбурно.

— А хватит нам киловатт-часов-то? — спросила Федератовна.— Ты амперы-то сосчитал с вольтами? — испытывала старуха инженера Вермо.— Ты гляди, раз овладел техникой!.. А проволоку, снур и разные частички где ты возьмешь? Мы вон голых гвоздей второй год не допросимся, алебастру, извести и драни нету нигде...

— Я поеду в район, в край и достану все, что нужно, сама,— сказала Босталоева, запечалившись вдруг отчего-то.— Високовский, сколько мы нагоним мяса, если в скотниках будет тепло?..

— Можно телят выпаивать круглый год,— размышлял Високовский.— Весной мы родили две тысячи телят, а теперь будем осеменять коров круглый год — получим минимум три тысячи телят, на добавочную тысячу больше. Это при том стаде, какое у нас есть...

Далее Високовский сделал расчет на бумаге; он сообразил, сколько дадут товарного мяса добавочные телята, на сколько самое меньшее пополнеют благодаря теплу взрослые животные,— и выразил цифру 300 тонн чистого живого мяса, не считая громадной прибавки молока и масла от улучшения бытовых условий.

— Почти двадцать вагонов! — обрадованно произнесла Босталоева.— Мы это сделаем, товарищ Вермо! Бабушка, ты будешь бригадиршей на постройке... Бабушка, возьмись по-старинному, когда великаны жили, говорят...

— Обожди, девчонка! — осерчала Федератовна.— Великаны были только сильны, а по уму любой цыпленок норовистей их. Обождите, вам говорят!.. Если на небе тихо, а на дворе мороз в тридцать градусов по Реомюру, в тридцать семь по Цельсию: вы тогда — что?!

Вермо выдумал быстрее, чем кончила Федератовна:

— Мы, бабушка, из коровьих лепешек брикетов наделаем в запас. Пусть Кемаль сделает деревянный пресс для обжима и брикетирования коровьих лепешек...

— Я уж ему двенадцать раз говорила, дураку,— сказала Федератовна.— Лежит зимой добро по всему гурту, а скот зябнет...

— Мне оппортунист Умрищев не велел,— оправдался Кемаль.— Я несколько раз докладывался: пора, говорю, нам заготовить деревянный блюминг, что ж это такое? Коровы ведь зарождают в туловище не одно молоко с мясом, а и топку! Давай, говорю, мне двух плотников

и слесаря на помощь — я тебе из коров Донбасс сделаю, я тебе из коровьего желудка центральное отопление поставлю...

— Кто будет крутить ваш брикетный пресс? — спросил Вермо.

— Два вола,— сообщил Кемаль.

— Нет, ветер,— не согласился инженер,— не тратьте животных, живите за счет мертвой природы.

— Я люблю вас, гражданин Вермо,— произнес Височковский.

— Ветер лучше,— согласился Кемаль.— Пресс можно крутить, когда ветряк не нужен для тепла.

Федератовна хоть и была довольна, но не очень — она потребовала от Вермо, чтоб он составил проект с экономической стороной, а она его проверит со всех точек: старуха была настолько скупа и осторожна в отношении социализма, что даже для верного друга требовала предосудительного контроля — мало ли совершается в советском мире расточительства благодаря действию слишком радостных чувств?

Вермо согласился составить проект, а Федератовна пошла заботиться по советскому мясному хозяйству; она уже полгода как не спала, только дремала на заре, объясняя это тем, что она уже старая и ей было достаточное время выспаться при империализме.

Под вечер старуха села в совхозную таратайку и поехала по всем пастбищам, по всем стадам, нажевывающим себе тело в степях; и когда развернулась ночь, то все еще гремела в пространстве таратайка Федератовны — этот звук старушечьей езды наводил жуть на нерадивых гуртоправов, потому что невозможно было что-либо скрыть от бессонной специальной бдительности Федератовны, умудренной хитростью классового врага. Даже лучшие доярки вздрогнули, когда узнали, что старуха стала помощником директора. Покойница Айна давала больше всех работы — она выдаивала по 190 литров молока в сутки при норме в 125; бабушка же однажды просидела в степной ферме трое суток и надоила 700 литров.

— Сучки-подкулачницы,— сказала тогда Федератовна двум бабам-лодырям.— Только любите, чтоб вам груди теребили, а до коровьих грудей у вас охоты нет...

Она помнила всех выдающихся коров в совхозном поголовье, а быков знала лично каждого. Проезжая сквозь жующие стада, старушка всегда сходила с таратайки и бдительно осматривала скотину, особенно быков — их она пробовала кругом, даже вниз к ним заглядывала: целы и здоровы ли у производителей все части жизни.

Сейчас уже далеко звучала таратайка Федератовны и удалялась все более скоро, потому что старуха совала рукой в кучера и пилила его сзади своими словами.

В эту ночь, когда поднялась луна на небе, животные перестали жевать растения и улеглись на ночлег по балкам и по низовьям, напившись воды у колодцев, несъеденная трава тоже склонилась книзу, утомившись жить под солнцем, в смутной тоске жары и бездождия. В тот час Боста-

лоева и Вермо сели верхами на лошадей и понеслись, обдаваемые теплыми волнами воздуха, по открытому воздушному пространству земного шара...

Забвение охватило Вермо, когда скрылось из глаз все видимое и жилое и наступила одна туманная грусть лунного света, отвлекающая ум человека в прохладу мирной бесконечности, точно не существовало подножной нищеты земли. Не умея жить без чувства и без мысли, ежеминутно волнуясь различными перспективами или томясь неопределенной страстью, Николай Вермо обратил внимание на Босталоеву и немедленно прыгнул на ее коня, оставив своего свободным. Он обхватил сзади всю женщину и поцеловал ее в гущу волос, думая в тот же момент, что любовь — это изобретение, как и колесо, и человек, или некое первичное существо, долго обвыкался с любовью, пока не вошел в ее необходимость.

Босталоева не сопротивлялась — она заплакала; обе лошади остановились и глядели на людей.

Вермо отпустил Босталоеву и пошел по земле пешком. Босталоева поехала шагом дальше.

— Зачем вы целуете меня в волосы? — сказала вскоре Босталоева. — У меня голова давно немытая... Надо мне вымыться, а то я скоро поеду в город — стройматериалы доставать.

— Стройматериалы дают только чистоплотным? — спросил Вермо.

— Да, — неясно говорила Босталоева, — я всегда все доставала, когда и на главной базе работала. Вермо, сговоритесь с Височковским, составьте смету совхозного училища: нам надо учить рабочих технике и зоологии. У нас не умеют вырыть колодца и не знают, как уважать животных...

Но Вермо уже думал дальше: колодцы же ветхость, они ровесники происхождению коровы как вида — неужели он пришел в совхоз рыть земляные дыры?

К полуночи инженер и директор доехали до дальнего пастбища совхоза — самого обильного и самого безводного. После того пастбища — на восток — уже начиналась непрерывная пустыня, где в скучной жаре никого не существует.

Худое стадо, голов в триста, ночевало на беззащитном выпуклом месте, потому что нигде не было ни балки, ни другого укрытия в тишине рельефа земли. Убогий колодец был серединой ночующего гурта, и в огромном пойловом корыте спал бык, храпя поверх смирившихся коров.

Редкий ковыль покрывал здешнюю степь, при этом много росло полыни и прочих непищевых, бедных трав. Из колодца Вермо вытащил на проверку бадью — в ней оказалось небольшое количество мутной воды, а остальное было заполнено отложениями четвертичной эпохи, погребенной почвой.

Почуяв воду по звуку бадьи, бык проснулся в лотке и съел влагу

вместе с отложениями, а ближние коровы лишь терпеливо облизали свои жаждущие рты.

— Здесь так плохо! — проговорила Босталоева с болезненным впечатлением. — Смотрите — земля, как засохшая рана...

Вермо с мгновенностью своего разума, действующего на все коренным образом, уже понял обстановку.

— Мы достанем наверх материнскую воду. Мы нальем здесь большое озеро из древней воды — она лежит глубоко отсюда в кристаллическом гробу!

Босталоева доверчиво поглядела на Вермо: ей нужно было поправить в теле это дальнее стадо и, кроме того, Трест предполагал увеличить стадо «Родительских Двориков» на две тысячи голов, но все пастбища, даже самые тощие, уже густо заселены коровами, а далее лежат умершие пространства пустыни, где трава вырастет только после воды. И те пастбища, которые уже освоены, также нуждаются в воде — тогда бы корма утроились, скот не жаждал и полумертвые ныне земли покрылись бы влажной жизнью растений. Если брикетирование навоза и пользование ветром для отопления даст триста тонн мяса и двадцать тысяч литров молока, то откуда получить еще семьсот тонн мяса для выполнения плана?

— Товарищ Босталоева, — сказал Вермо, — давайте покроем всю степь, всю Среднюю Азию озерами ювенильной воды! Мы освежим климат и на берегах новой воды разведем миллионы коров! Я сознаю все ясно!

— Давайте, Вермо, — ответила Босталоева. — Я любить буду вас.

Оба человека по-прежнему находились у колодца, и бык храпел возле них. К колодцу подошел пастух. Он был на хозрасчете. У него болело сердце от недостачи двух коров, и он пришел поглядеть — не чужие ли это люди, которые могут обменять коров или выдоить их, тогда как он и сам старался для лучшей удойности не пить молока.

Вермо в увлечении рассказал пастуху, что внизу, в темноте земли, лежат навеки погребенные воды. Когда шло создание земного шара, и теперь, когда оно продолжается, то много воды было зажато кристаллическими породами и там вода осталась в тесноте и покое. Много воды выделилось из вещества при изменении его от химических причин, и эта вода также собралась в каменных могилах в неприкосновенном, девственном виде...

— Ну как засиделая девка в шалаше, — обратно объяснил пастух инженеру, — выпусти ее, она тебе сразу рожать начнет, из нее так и посыплется.

Вермо не услышал: он заметил, как дрожали первичные волны рассвета на востоке, и мучил в темноте своего сознания зарождающуюся, еле живую мысль, еще неизвестную самой себе, но связанную с рассветом нового дня. Однако, опершись рукой на спящего быка, Вермо уже приобрел другую догадку: не пришла ли пора отойти от ветхих форм

животных и завести вместо них социалистические гиганты вроде бронтозавров, чтобы получать от них по цистерне молока в один удой?

На обратном пути Вермо погрузился в смутное состояние своего безостановочного ума, который он сам воображал себе в виде низкой комнаты, полной табачного дыма, где дрались оборвавшиеся от борьбы диалектические сущности техники и природы. Не было того естественного предмета или даже свойства, судьбу которого Вермо уже не продумывал бы навеки вперед; поэтому он и в Босталоевой видел уже существо, окруженное блестящим светом социализма, светом таинственного летнего дня, утонувшего в синеве своих лесов, наполненного чувственным шумом еще неизвестного влечения.

Когда же Вермо глядел на конкретный облик Босталоевой и на других ныне живущих людей, вырывающихся из мертвого мучения долготы истории, то у него страдало сердце и он готов был считать злобу и все ущербы существующих людей самым счастливым состоянием жизни.

* *
*

Возвращаясь среди утренней зари на «Родительские Дворики», Вермо и Босталоева встретили бригаду колодезников, и Босталоева велела колодезному бригадиру придти вечером к инженеру Вермо, чтобы решить вопрос о добыче подземных морей.

Молодой бригадир Милешин невнимательно потрогал ногу Босталоевой, сидящей на лошади, и ответил:

— Товарищ директор. Прошлый год было постановление районного съезда о бурении на глубокую воду. Я тогда докладывал, и моя речь транслировалась по радио на все колхозы-совхозы. Я добился как факта, что у нас нет воды, ее не хватит социализму — у нас только есть одна сырость, один земляной пот... Я вечером приду.

Босталоева сняла шапку с бригадира гидротехников и пошевелила ему волосы.

Далее инженер и директор поехали по малоизвестной ближней дороге, и вскоре им представился странный вид земли, будто оба человека очутились в забытом сне: пространство лежало не в ширину, а в толщину, и всюду были такие мощные взбугрения почвы, что делалось скучно и душно в мире, несмотря на окружающую прелесть свежего дня.

«Надо использовать тяжесть планеты! — заботливо решил Вермо, наблюдая эту толщину местной земли. — Можно будет отапливать пастушьи курени весовою силой обвалов или варить пищу вековым опусканием осадочных пород...»

Мелкий человек с большой бородой стоял невдалеке на толстой земле и читал книгу при восходящем солнце. Простосердечный Вермо

решил, что тот человек полюбил теорию и думает, вероятно, о пролетарской космогонии, наблюдая одновременно солнце в упор. Но Босталоева сразу рассмеялась:

— Это Умрищев,— сказала она.— Он думает, что тут было при Иване Грозном: не лучше ли?

И действительно, то стоял в глубоком размышлении Умрищев, держа ветхую книгу в руках. Он небрежно глядел в сияющую природу и думал о чем-то малоизвестном; лицо его слегка похудело, но зато гуще обросло волосом, и в глазах находилось постоянное углубление в коренные вопросы человеческого общества и всего текущего мироздания.

Он не заинтересовался конными людьми, ответил только на привет Вермо и дал необходимое разъяснение: что колхоз его отсюда недалеко — виден даже дым утренних похлебок, что сам он там отлично колхозирует и уже управился начисто ликвидировать гнусную обезличку и что теперь он думает лишь об усовершенствовании учета: учет! Умрищев вдруг полюбил своевременность восхода солнца, идущего навстречу календарному учтенному дню, всякую цифру, табель, графу, наметку, уточнение, талон и теперь читал на утренней заре Науку Универсальных Исчислений, изданную в 1844 году и принадлежащую уму барона Корфа, председателя Общества Поощрения Голландских Отоплений. Одновременно Умрищев заинтересовался что-то принципиальной сущностью мирового вещества и предполагает в этом направлении предпринять какие-то философские шаги.

Босталоева скучно и гневно поглядела на Умрищева и пустила лошадь в сильный бег; эта женщина не верила в глупость людей, она верила в их подлость.

Вермо оглянулся издали на Умрищева — все так же стоял человек на толстой земле, вредный и безумный в историческом смысле. Вермо сейчас же предложил Босталоевой собрать все районные невыясненные и подопытные личности в одно место и поставить производство исторического идиотизма в крупном или хотя бы полузаводском масштабе с тем, чтобы заблаговременно создать для будущих поколений памятники последних членов отживших классов; Умрищев ведь тоже хотел, как нравственная и разумно-культурная личность, быть занесенным в список штатных единиц истории!

Босталоева ответила, что поучительные памятники следует устраивать после гибели враждебных существ, теперь же нужно заботиться только об их безвозвратной смерти. Вермо наклонился с седла, чтобы лучше разглядеть классовое зло на лице Босталоевой, но лицо ее было счастливое и серые глаза были открыты, как рассвет, как утреннее пространство, в котором волнуется электромагнитная энергия солнца.

Вермо почувствовал эту излучающуюся силу Босталоевой и тут же необдуманно решил использовать свет человека с народнохозяйственной целью; он вспомнил про электромагнитную теорию света Максвелла, по которой сияние солнца, луны и звезд и даже ночной сумрак есть

действие переменного электромагнитного поля, где длина волны очень короткая, а частота колебаний в секунду велика настолько, что чувство человека скучает от этого воображения. Вермо вспомнил далее первичную зарю сегодняшнего дня, когда свет напрягался на востоке и слабел от сопротивления бесконечности, наполненной мраком, и Вермо, опершись тогда на быка, утратил в темноте своего тела пробуждавшееся рациональное чувство освещенного неба...

И сейчас еще Вермо не знал, что можно сделать из небесного света.

— Товарищ Босталоева,— сказал он,— дайте мне руку...

Босталоева дала ему свою опухшую от ветра и работы руку, и оба человека проехали некоторое время со сдвоенными руками, причем Вермо жал руку женщины, помогая этим не страсти, а размышлению — у него даже остыло все тело, теплота которого ушла на внутреннюю силу задумчивости.

Вскоре показалось расположение «Родительских Двориков», беспомощное издали, особенно если сравнить с Двориками небесное пространство, напряженное грозной и безмолвной электромагнитной энергией солнца.

* *
*

К ночи Босталоева назначила производственное совещание.

Колодезный бригадир Милешин, зоотехник Височковский, инженер Вермо, Федератовна, кузнец Кемаль, пять гуртоправов (потому что совхоз состоял из пяти участков) и старший пастух Климент, выбранный как природный практик председателем производственного совещания, присутствовали на этом собрании уже загодя. Повестка дня состояла из вопросов переустройства всего мясного хозяйства, ради того чтобы произвести говядины в совхозе не тысячу тонн, как задано планом, а две тысячи; далее следовало задуматься над пастбищами для прокорма новых двух тысяч коров и сорока быков, о которых в дирекции получено письмо, что они гонятся пешим шагом из соседнего района — отсюда полтораста верст.

Как только опустилась вечерняя заря, так приехала и Босталоева из степи, закончив где-то свои дневные заботы.

Климент, глядя на солнце привыкшими глазами, сказал заседанию, что пора уж хозяйски думать о социализме, чтоб в степи было все экономично и умело.

— Во мне вот лежит большевистский заряд,— сказал Климент.— А как начну им стрелять в свое дело, так выходит кой-что мало... Ты стараешься все по-большому, а получается одна мелочь — сволочь! Ты скотину напитаешь во как, я сам траву жую, прежде чем скотину угощаю, а отчет мне показывает — по молоку недоборка, а по говядине скотина рость перестала!.. На центральном гурте взяли сорок рабочих всякого пола из колхоза, по сговору,— мне два помощника, два

умных на глаз мужика досталось. Что ж такое?! Ходят они, бушуют и стараются — я сам на них пот щупал,— а все на моем гурте как было плохо, так стало еще хуже... Не досмотрю сам — скотина стоит в траве голодная, а не ест: напоенная! А мужики мои аж скачут от ударничества, под ними волы бегом бегут, а куда — неизвестно, кликнешь — они назад вернутся, прикажешь — тужатся, проверишь — проку нету. Это что такое, это откуда смирное охальство такое получается? Злой человек — тот вещь, а смирный же — ничто, его даже ухватить не за чего, чтобы вдарить!..

— У нас классовая борьба,— тихо сказала Босталоева.

— Да то что ж! — сразу согласился Климент.— А то не она, что ль?

— Откуда твои мужики-то, дурак бесхарактерный? — спросила Федератовна.— Из какого этого колхоза тебе помощь дали?

— А из того, матушка старушка, где наш прошлый директор книги читает. Он там мужикам какую-то слабость организовал и говорит, чтоб никто не горевал, потому что все на свете есть электрон, который никуда не денется, хоть вся диктатура иди против него. Теперь там зажиточное население всех про электрон спрашивает: каждый хочет электроном стать, а как — не знают...

— Вермо,— обратилась Босталоева,— поезжайте, пожалуйста, с Федератовной в колхоз к Умрищеву и объясните ему, что такое электрон. Теперь давайте обсудим зимнее отопление коровников.

Собрание вступило в это обсуждение, а Високовский вручил Босталоевой бумагу, где описывалось суточное положение совхоза, здоровье скота, отгон масла из молока — и между прочим отмечалась бесследная пропажа восьми коров и смерть двенадцати голов телят. Босталоева с терпеливым сердцем прочитала бумагу; она знала, что надо беречь свою ненависть, чтоб ее хватило до конца классового врага.

Собрание приняло решение строить ветряное отопление и рыть землю вглубь, вплоть до таинственных девственных морей, дабы выпустить оттуда сжатую воду на дневную поверхность земли, а затем закупорить скважину, и тогда среди степи останется новое пресное море — для утоления жажды трав и коров.

Ввиду дальности и безвестности ювенильной воды, Вермо предложил прожигать землю вольтовой дугой, которая будет плавить кристаллические толщи и входить в них, как нож в тесто.

Федератовна, по своей скупости на социалистические средства, не велела было этим заниматься, но Вермо объяснил ей, что глубокое бурение электрическим пламенем, безусловно, является событием всемирно-исторического значения, и старушка, улыбаясь щербатым ртом, согласилась, так как была слаба на славу. Вслед за тем собрание начало думать, куда поместить новые две тысячи коров, и Вермо выдумал уже было кое-что, ничего не выдумывать он не мог: он бы разрушился от напора личной жизни,— но Кемаль, с мгновением столь же оживленного разума, предложил резать плиты в ближайшем месторождении известкового камня и строить из этих плит скотные жилища.

— Резать камень надо не железом, а электрическим огнем: двое рабочих могут заготовить и сложить тысячу скотомест! — враз сообщил Вермо.

— Хорошо сказал! — обрадовался Кемаль, и тут же сказал еще лучше: — А соединять плиты друг с другом мы будем электрической сваркой — такой же вольтовой дугой, которой мы нарежем плиты в карьерах!..

Вермо вытер заслезившиеся от восторга глаза и встал на ноги, будучи рад всеобщей радостью.

— Вы забыли про коровьи брикеты, — напомнила Босталоева; ее глаза побелели от усталости, она наклонилась на свои руки и потеряла во сне сознание.

Проснулась она уже поздно ночью в своей комнате и сразу велела запрягать лошадь, чтобы ехать до железной дороги и выспаться в степной повозке.

Босталоева решила немедленно достать в краевом центре стройматериалы и оборудование и построить до зимы новые коровьи помещения, а также отопительный ветряк с динамо-машиной и пресс для брикетирования коровьих лепешек. Что касается девственных морей, то Босталоева задумала поступить в городе в институт и учиться заочно, с тем чтобы самой стать инженером и проверить проект Вермо; а сейчас начать эту работу она стеснялась, потому что не понимала еще внутреннего устройства земного шара и не видела ни разу вольтовой дуги. Был еще один трудный выход: перевыполнить вдвое-втрое план, получить премию и добиться согласия всех рабочих совхоза приобрести на премиальные деньги машину для бурения земли электрическим огнем. Что мешало этому?

В совхозе играла хроматическая гармония; это Вермо выдумывал музыку — он чаще всего играл свои текущие сочинения и сразу же их забывал.

Вокруг совхозного поселения лежала неизвестная тьма, укрыв дальние и беззащитные стада; еще далее тех стад были колхозы, деревни, бывшие уездные города — тысячи дружелюбных и ненавидящих людей; советские коровы сейчас лежали у водопоев, быки храпели и равнодушные пастухи варили себе что-нибудь на ночь, чтоб не скучать от голода во сне... Только десятая часть пастухов были коммунистами, которые старались спать днем, и то посменно, а ночью они ходили во тьме с открытыми глазами. Если каждые сутки будет исчезать по восемь коров, то сколько можно отправить мяса в Донбасс и в Сталинград?

Босталоева сложила в чемодан два запасных платья, ведомость потребных стройматериалов и оборудования, белье, поглядела на себя в зеркало и села на кровать в одиночестве. «У меня ведь нет родственников!» — вспомнила она. — «Была одна сестра, но мы забыли писать письма друг другу!.. Не забудь узнать в Ветеринарном институте, — Височковский не напомнил мне, — как добывают семя из мочи для искусственного

оплодотворения... Вермо! Я хочу выйти замуж за тебя при социализме; а может быть, расхочу еще!»

Вермо в тот час играл, как он думал, сонату о будущем мире: в виде выдуманных им звуков ходили по благородной земле гиганты молока и масла — живые существа, но с некоторыми металлическими частями тела, дабы лучше было уберечь их от болезней и обеспечить постоянство продуктивности; например, пасть была стальная, кишечник оперирован почти начисто (против заболеваний от разложения кала), а молочные железы должны иметь электромагнитное усовершенствование. Свободные доярки и рабочие слушали музыку Вермо и его разъяснения о значении исполняемой музыки и тогда только верили, что это так.

Босталоевой подали повозку. Она вышла в дорожном плаще, ее черные волосы блестели от света через окно, и ей стало страшно уезжать из совхоза, когда он остался один во тьме.

Она позвала Федератовну, велела ехать ей завтра вместе с Вермо в умрищевский колхоз, увидеть все, что следует, и если нужно — поставить в райкоме вопрос о немедленной ликвидации остатков кулачества и об удалении из района мясосовхоза всех буржуазных, жестких элементов, иначе хозяйство вести нельзя.

— Я заеду сама в райком,— сказала Босталоева.— Проверьте лучше электрон Умрищева: по-моему, это его новый политический лозунг.

— С Умрищевым я одна управлюсь,— высказалась Федератовна,— электрон я знаю что такое, меня физике научили, это такая частичка, а лозунги я чую даже когда сам оппортунист молчит про них! Поезжай, девочка,— наган не забудь взять!

Вермо опечалился. Дерущиеся диалектические сущности его сознания лежали от утомления на дне его ума.

— Надежда Михайловна,— произнес Вермо,— я ехал с вами утром и увидел на небе электромагнитную энергию! Нам нужно сделать оптический трансформатор — он будет превращать пульсацию солнца, луны и звезд в электрический ток. Он будет питаться бесконечным пространством, он...

— Да остановись ты думать хоть ради человека-то,— обиделась на Вермо Федератовна.— Человек уезжает, а он бормочет — голову ей забивает. Девке и без тебя есть забота: иль мы сами физики не знаем, один ученый какой! Что ты, при капитализме что ль живешь, когда одни особенные думали!

— До свиданья, Вермо,— подала руку Босталоева.— Делайте пока земляные работы, а я привезу оборудование...

С теми словами Босталоева уехала в темноту, в далекий краевой город.

* *
*

В одно истекшее летнее утро повозка Надежды Михайловны Босталоевой — директора мясосовхоза «Родительские Дворики» остановилась в селе у районного комитета партии. Различные партийцы расположи-

лись кругом комитета на раннем солнце; многие спали с омертвевшими впадинами глаз, другие говорили что-то и глядели в широту пространства, где было много положено их молодости и силы и где сейчас уже стлался газ тракторов, блестел тес новостроек, шли на работу бригады людей,— пустоту и скорбь капитализма сменял многолюдный социализм.

Секретарь райкома спал: он лег в постель не далее двух часов назад, потрудившись всю ночь. Босталоева не хотела ждать и вошла в комнату спящего секретаря. Он открыл глаза и узнал ее сразу, потому что все время помнил о ней и втайне ожидал ее, хотя и не имел никакой надежды.

Босталоева сообщила свою просьбу; секретарь лежа прослушал ее, не понимая вначале ничего. Она ему нравилась, как соучастница в мучительной классовой борьбе, как товарищ по беспрерывной работе и как женщина, не имеющая никакого тайного личного наслаждения, так же, как и сам секретарь.

— Про Умрищевский колхоз мы уже знаем кое-что,— сказал секретарь в ответ.— Вчера мы постановили на бюро проверить положение колхозов вокруг твоего совхоза и выжечь остатки кулачья.

Босталоева попрощалась с секретарем и уехала. Секретарь райкома засмотрелся ей вслед с крыльца дома — ему стало жалко, что она уезжает; все люди, которых он наиболее любил, постоянно были невидимы: находились вдалеке, поглощались трудом, исчезали из дружбы — и нужно ждать еще пять или десять лет, чтобы наступил коммунизм, когда механизмы вступят в труд и освободят людей для взаимного увлечения.

В краевом городе Босталоевой негде было остановиться. Все гостиницы давно наполнились безвыездными инженерами и квалифицированными рабочими Ленинграда и Москвы. Босталоева попала в город в ту пору, когда в нем почти не было приюта, потому что буржуазно-семейные убежища строители снесли в прах, а новые светлые сооружения еще не просохли для вселения.

Тогда Босталоева поселилась в том учреждении, где она хотела достать стройматериалы: ей пошел навстречу местком, который отвел ей для ночлега свою комнату и дал зеркальце, как члену союза и женщине. Ночью Босталоева открыла окно из месткома и засмотрелась в освещенное, гремящее строительство заводов, улиц и жилых домов. В учреждении было темно; молча лежали архивы, скрывая в бумагах бюрократизм, вредительство, бред мелких исчезающих классов и воодушевленный героизм. Босталоева прошла по коридорам гулкого учреждения, потрогала папки в шкафах и серьезно задумалась в скучной пустоте канцелярий.

Вымывшись в ванне, которая вполне разумно была приурочена к какому-то кабинету, Босталоева переоделась в чистое белье и легла спать

на столе месткома, слушая через открытое окно шум ночной работы, голоса людей, смех женихов и невест, завыванье напряженных машин, гудки транспорта, песни сменившихся красноармейских караулов — весь гул большевистской жизни.

Она заснула успокоенная и счастливая, не услышав, как во второй половине ночи по ней ходили крысы.

Наутро Босталоева пошла ходатайствовать о бревнах, гвоздях, о динамо-машине, о проволоке и о железных частях для пресса, который должен сжимать коровье кало и делать из него топливные брикеты.

В большом зале учреждения стоял гул от умственной работы, сотни усердных служащих соображали о снабжении тысячи строительств и беспрерывно бились на плановом поприще с представителями мест, употребляя чай в промежутках труда.

В углу того зала сидел молодой еще, но уже поседевший ответственный исполнитель по разнарядке стройматериалов; он уныло глядел в чад пространства своего учреждения, не видя возможности удовлетворить самым необходимым даже ударные строительства и спецработы.

Босталоева подошла к нему.

— Мне нужен ящик гвоздей,— сказала она.

Исполнитель улыбнулся и отечески-ответственно сообщил ей:

— Голубушка моя, мне гвоздей нужно десять тысяч тонн!.. Вы откуда?

Босталоева уселась и с задушевностью надежды рассказала исполнителю всю нужду своего совхоза. Когда она говорила, к исполнителю подошли еще посетители и местные служащие; все они слушали женщину и явно улыбались над ее просьбой о внеплановом снабжении, но сам исполнитель был грустен.

— На весь наш район мы дали пол-ящика гвоздей: возьмите оттуда себе горсть! — сказал исполнитель, привыкнув к строительному страданию.

Все люди, бывшие близко, удовлетворенно засмеялись: они пришли по делам планового снабжения и действовали не на основе искренности, а посредством высшего комбинирования.

— Вы сволочь! — произнесла Босталоева.— Дайте мне ваш бумажный план, я выдумаю вам гвозди!

Ответственный исполнитель сначала составил акт об оскорблении себя в присутствии свидетелей, а затем дал ей план, поскольку это было его обязанностью.

Босталоева рассмотрела всю разверстку гвоздей, и ей жалко стало каждое строительство, потому что каждое строительство просило жадно и каждому давалось мало,— она не могла указать, кого надо обездолить, чтобы совхоз получил гвозди. В конце ведомости было четыре тонны проволоки-катанки, назначенной в контору оргтары для опытной увязки.

Босталоева пошла к начальнику учреждения с плановой ведомостью в руках; начальник, оголтелый от голода на стройматериалы, сидел среди чада в своем кабинете, окруженный многолюдством ходатаев по делам. Его убеждали, перед ним открывали очаровательные перспективы пускового чугунного завода, если только начальник даст гвоздей, ему угрожали карами вышестоящих инстанций и его угощали экспортными папиросами; начальник глядел в воздух сквозь дремоту своей усталости и, втайне радуясь, полагал про себя: «старайтесь, крутитесь, черти,— ничего я вам не дам: учитесь изобретать и находить подножные ресурсы!».

Заметив неслужебное лицо Босталоевой, начальник сразу подозвал ее и вник в ее дело. Босталоева предложила начальнику отдать ей полтонны катанки, а она вместо катанки сделает в совхозе опытную увязку из соломы и пришлет ее орга-таре.

Начальник учреждения, пожилой рабочий, вдруг потерял свою дремоту и ясными глазами оглядел всю Босталоеву:

— Тебе сколько — полтонны нужно? — спросил он.— Возьми себе все четыре, ты из них дело сделаешь... Горюнов! — крикнул он ближнему секретарю.— Снять катанку с орга-тары, перенарядить ее «Родительским Дворикам»! Поставь вопрос об этой орга-таре перед РКИ, пускай ей шерсть там опалят: надо показать мерзавцам, что металл бывает горячий.— Верещасный! — провозгласил начальник поверх гула учреждения в сторону ответственного исполнителя.— Зайди ко мне после занятий, я тебя, может, уволю за проволоку...

В тот же день Босталоева отправила три тонны катанки на совхоз, а одну тонну оставила на складе; затем — уже к вечеру — она явилась на гвоздильный завод и попросила директора нарубить ей из проволоки гвоздей.

— А за что мне их вам рубить? — сказал директор.— За ваши глаза?

— Да,— ответила Босталоева и посмотрела на него своими обычными глазами.

Директор глянул на эту женщину, как на всю федеративную республику, и ничего не сумел промолвить; сколько он ни отправлял в республику продукции, выгоняя промфинплан до полутораста процентов, республика все говорила — мало даешь — и сердилась. И теперь стояла перед ним эта женщина, требовательная, как республика, и так же лишенная пока богатых фондов и особой прелести.

— Разве поцеловать мне вас за гвозди! — улыбнулся директор.

— Ладно,— согласилась Босталоева.

Директор с удивлением почувствовал себя всего целиком — от ног до губ — как твердое тело и даже внутри его все части стали ощутительными,— до этого же он имел только одно сознание на верху тела, а что делалось во всем его корпусе — не чувствовал.

— А вы не обидитесь? — спросил директор, бдительно наблюдая кабинет: нигде не слышно было шагов, телефон молчал, вентилятор гудел ровно, как безмолвный.

— Не обижусь,— ответила Босталоева,— потому что я привыкла... Прошлый год я достала кровельное железо, мне пришлось за это сделать аборт. Но вы, наверно, не такая сволочь...

— Нет,— спокойно сказал директор, садясь на место.— Где ваша катанка? Вечером я сам стану за автомат, вы подождете десять минут и получите свои гвозди... Везите катанку сюда.

Директор равнодушно опустил голову к текущим делам. Босталоева сама подошла к нему и поцеловала его — таким способом, что впоследствии, когда Босталоева уже ушла, директор ходил в уборную глядеться в зеркало — не осталось ли чего на его лице от этой женщины, потому что он все время чувствовал какой-то лишний предмет на своих губах.

Вечером Босталоева получила гвозди на заводе. Директор сам вывез ей из цеха четыре ящика на электрокаре и взял расписку в получении продукции. Босталоева отправила гвозди на вокзал и пошла ночью, под взошедшей слабой луной по новостроящимся гремящим улицам. Она читала вывески неизвестных ей организаций — «Химрадий», «Востокогаз», «Электробюро высоких напряжений», «Комиссия воздуходувок», «Контора тяжелых фундаментов», «НТО изучения вибраций промустановок», «КрайВЭО» и т. п. и была рада, что таинственные, мутные и нежные силы природы действуют в рядах большевиков, начиная от силы тяжести и кончая нежной вибрацией и электромагнитной волной, трепещущей в темной бесконечности.

Окна «КрайВЭО» были освещены; девушки-техники работали, склонившись над чертежными досками; молодой инженер, поседевший от бурной технической жизни, проверял на логарифмической линейке расчеты техников и показывал изуродованным рабочим пальцем в просчеты и ущербы чертежей.

Босталоева прислонилась лицом к оконному стеклу и долго смотрела на своих ровесниц и товарищей. Лунная ночь шла в легком воздухе, летние сады и травы по-прежнему произрастали на земле, но они были почти безлюдны теперь, как отжившее явление, никто не гулял по ним в праздности настроения.

Босталоева вошла в КрайВЭО, подумала в недоумении про свою долю и попросила динамо-машину в сто лошадиных сил у заведующего сектором снабсбыта. Заведующий ничего не сказал в ответ Босталоевой, только посмотрел куда-то мимо нее — в страну электрического голода. Босталоева прошла в своем мучении, что нету машины, по нагретым освещенным горницам учреждения, и ей понравился глубокий труд технической науки. Одна чертежница миловидно улыбнулась Босталоевой; Босталоева тотчас же заметила эту человечность и, склонившись над чертежной доской, две женщины поговорили, как подруги: одна скучала по ребенку, ожидающему мать до полночи в запертой комнате, другая хотела динамо-машину. По утрам та чертежница занималась в Чертежно-конструкторском институте, а после, не заходя домой, сразу поспевала на работу; ночью же она старалась меньше спать, чтобы больше

видеть своего ребенка. Босталоева обещала чертежнице приходить в ее комнату с вечера и заниматься с ребенком, пока возвратится мать.

На другой день Босталоева так и сделала, переселившись в жилище чертежницы на время командировки. Она рисовала четырехлетнему мальчику коров и солнце над ними, изобразила партийную умную старушку Федератовну, потом быка, коровью драку у водопоя; одинокий мальчик смотрел и слушал эти факты с пользой и удивлением. Наконец пришла мать, которая долго не давала спать ребенку, и с подробностью рассказала ему, что она делала в долгий день и про динамо-машину, которую она начала чертить в институте с натуры.

Босталоева сразу же узнала от матери-чертежницы, что это большая динамо-машина,— она давно стоит в аудитории, как чертежная модель, но сколько в ней сил, неизвестно: завтра чертежница обещала списать табличку-спецификацию.

Утром Босталоева пошла в то учреждение, где она впервые стала на ночлег, и там ей дали повестку, чтоб она явилась днем в нарсуд — как ответчица по делу о названии сволочью государственного служащего.

Рабочий судья прочитал вслух перед лицом интересующегося народа дело Босталоевой и вдруг дал свое заключение: ответчицу оправдать и вынести ей публичную благодарность за бдительность в экономии металла, а истца-служащего признать действительной сволочью и предать наказанию, как негодную личность. Народ вначале было озадачился, но потом обрадовался суждению судьи; истец же наклонил лицо и публично опозорился, впредь до особых заслуг перед рабочим классом.

Из камеры суда Босталоева ушла, как артистка,— под звуки всеобщих приветствий, и сам судья воскликнул ей: «До свиданья, приходите к нам еще выявлять эти элементы!»

Была еще середина дня, шло жаркое лето и время пятилетки. Заботливая тревога охватила сердце Босталоевой, когда она остановилась среди краевого города,— с жадностью она глядела на доски и бревна построек, на грузовики с железными принадлежностями, на провода высокого напряжения,— она болела, что в ее совхозе много одной только природы и нет техники и стройматериалов. Еще Босталоева страдала о том, что мало будет мяса для гремящего на постройках пролетариата, если даже «Родительские Дворики» дадут две тысячи тонн,— и ей надо поскорее маневрировать.

Босталоева зашла в институт к подруге-чертежнице и увидела старую динамо-машину, с которой студентки чертили детали. Она прочитала на неподвижной машине надпись, что в ней 850 ампер, 110 вольт, но не знала — сильно это или слабо. Выйдя из института, она написала телеграмму Вермо, что машина есть, но в ней 850 ампер и по ней учатся черчению молодые кадры; как же быть?

Ночью инженер Вермо прислал Босталоевой ответную телеграмму: «Придумал более совершенную, современную конструкцию динамо-машины, делаем ее из дерева и проволоки во всех деталях, окрасим в нужный цвет и вышлем багажом институту. Так как чертить можно с дере-

вянной разборной модели — обменяйте нашу деревянную на ихнюю металлическую, наша деревянная конструктивно лучше, для черчения полезней».

— Дорогой мой Вермо,— подумала Босталоева.— Где живет сейчас твоя невеста? Может быть, еще пионеркой с барабаном ходит!..

На другой день Босталоева вошла к секретарю ячейки чертежно-конструкторского института. Побледневший человек, спавший позавчера, выслушал женщину и встал со своего места с восторгом.— Отправляйте сегодня же нашу динамо в ваш совхоз! — воскликнул он, наполнившись сознательной радостью.— Мы будем чертить трансформатор, пока не привезут деревянную модель вашего инженера... Сколько, вы сказали, добавит мяса динамо-машина? — я забыл.

— Сто или двести тонн,— сообщила Босталоева.

Ей захотелось сейчас сделать какое-нибудь добро этому товарищу; она любила всякое свое чувство сопровождать веществом другого человека, но секретарь глядел на нее отвлеченно, и она воздержалась.

Через несколько суток секретарь сам построил упаковочные ящики и отправил динамо-машину в «Родительские Дворики», в то же время он попросил еще раз приехать через полгода, но Босталоева лишь косвенно улыбнулась на это.

— Тогда мы возьмем шефство над вашим совхозом! — провозгласил секретарь ячейки.

— Ладно,— согласилась Босталоева.— Вы помогите нам организовать в совхозе учебный комбинат. Нам хочется достать ювенильное море, тогда мы нарожаем миллионы телят и вы не успеете поесть наше мясо... Но вперед нам нужно сто пастухов сделать инженерами.

— Ювенильное море! — вскричал секретарь, сам не зная, что это такое, но чувствуя, что это хорошо.— Мы добьемся через Крайком в порядке шефства, чтоб теперь же у вас был технический комбинат!

— Нам нужна электротехника, гидрология и наука о мясном животноводстве,— говорила Босталоева,— плюс еще общая подготовка...

— Даю! — радовался секретарь.— Сегодня же поставлю шефство на ячейке и на общем собрании. Обними меня.

Босталоева обняла это худое тело, выгорающее сразу от всех лучших причин, какие есть в жизни.

— Достань мне электрические печи для коровников,— скромно улыбнулась Босталоева, не переставая оглядывать секретаря,— и арматуру для них, и наружные изоляторы, и еще кое-что... На тебе спецификацию.

— Печей нету нигде,— отказал секретарь, уходя в сторону.— Через месяц у нас будет практика в конструкторских мастерских: сделаем через два месяца в порядке шефства, давай спецификацию! Тебе не поздно?

— Ладно,— разрешила Босталоева,— мне даже рано, мне нужно к зиме.

Она ушла; секретарь склонил свою голову к столу и перестал чувствовать в сердце интерес к окружающим фактам.

— Буду шефствовать! — с горем выступающих слез воскликнул он и стал провертывать на столе текущие дела.

В тот день Босталоева уехала на подводе в леспромхоз. У нее появилось целесообразное желание — завести себе повсюду шефов, чтобы обратиться к сердцу рабочего класса и тронуть его.

В леспромхозе Босталоева прожила целую декаду, прежде чем успела добиться любви к «Родительским Дворикам» у всего треугольника. Однако же директор леспромхоза решил упрочить свою симпатию к мясосовхозу чем-нибудь более выдающимся, чем одно доброе настроение. И он написал двустороннее шефское обязательство, по которому леспромхоз немедленно отправлял в совхоз бревна, доски, брусья, обболонки и различные жерди, а совхоз ежемесячно должен отгружать леспромхозу по две тонны мяса, в качестве добровольного угощения!

Но когда вопрос о шефстве был поставлен на коллективное размышление рабочих, Босталоева объявила, что она согласна угощать рабочих, но только чтобы директор не ел ее мяса, потому что он допустил в подходе к шефству оппортунистическую практику, а она оппортунистов питать не хочет — она не гнилая либералка.

Сидевшее собрание встало наполовину при этих словах и отказалось есть даровое мясо Босталоевой, вымученное из нее директором. Председатель профкома произнес свою речь, где он уничтожил всякий факт нищенства и угощенчества, в которых рабочий класс никогда не понуждается.

Директор, пока слушал, уже успел написать в блокноте черновик признания своей правой, деляческой ошибки. На квартире он не спал всю ночь; он глядел через одинарное окно в тьму лесов, слушал голоса полуночных птиц и ожидал от тишины природы смирения своих тревожных чувств; но и тут он не мог успокоиться, поскольку такое отношение к природе есть лишь натурфилософия — мировоззрение кулака, а не диалектика. На рассвете директор вышел в контору и там написал чернилами раскаяние в одной ошибке и ордер на отправку «Родительским Дворикам» лесоматериалов в полуторном количестве против того, что просила Босталоева.

К вечеру того же дня Босталоева приехала обратно в крайцентр. Она уже тосковала по совхозу, у нее даже болел иногда живот от страха, что в «Родительских Двориках» что-нибудь случится. У Босталоевой осталась теперь одна забота — заказать пресс для приготовления навозных брикетов, а потом уехать в степь. Промучившись целый ряд суток по всему кругу учреждений, Босталоева не нашла себе такого сочувствия, чтобы ей дали предметы для устройства пресса, и притом во внеплановом порядке. В горе своем Босталоева прошла в крайком партии. Там ее принял третий секретарь крайкома, старик, паровозный машинист; он пил чай с домашним пирогом и старался вообразить себе ясно этот пресс, делающий топливо из животных нечистот.

— Хорошо,— сказал в заключение старик, представив себе жмущую машину пресса.— Зачем ты шаталась по всему нашему бюрократизму, кустарная дурочка! Ты бы зашла ко мне сразу.

Старый машинист позвонил по телефону в Институт Неизвестных Топливных Масс и велел помочь «одной девице» жечь коровье добро, а вечером пусть институт сообщит ему на квартиру свое исполнение.

— Ступай теперь, умница, в этот институт,— сказал секретарь.— Там ребята тебе сделают пресс... Спроси инженера Гофт, это мой помощник — не здесь, а на паровозе... Если обидишься на что-нибудь, зайди опять ко мне.

По уходе Босталоевой секретарь долго был доволен: старый механик почувствовал, что ушедшая девушка носила в своей голове миллион тонн нового топлива. Доев домашний пирог, он пошел к первому секретарю Краевого Комитета и сказал ему, что настала пора обратить в топливо все животные извержения, лежащие на площади края. Первый секретарь согласился подумать над этой задачей в текущих делах бюро.

Когда наступило бюро, то на заседание вызвали, как докладчика, Босталоеву и двух теплотехников из Института Неизвестных Топлив. Обсудив мероприятие, Бюро Крайкома поручило институту сделать в течение двух месяцев два опытных пресса для «Родительских Двориков», а сам босталоевский совхоз превратить в свою опытную станцию, связавшись с инженером Вермо и кузнецом Кемалем.

Наполнившись счастьем своих достижений, Босталоева уехала наутро в «Родительские Дворики», навстречу будущему времени своей жизни.

* *
*

Тем временем как Босталоева была в командировке, в «Родительских Двориках» умерло восемнадцать коров, а у одного быка непонятным образом был отрезан член размножения, и бык тоже умер.

Кроме того, семь коров были убиты в драке животных у дальнего водопоя, когда бык не сумел установить правильной очереди: старые коровы начали стервенеть и бодаться и семерых трехлеток кончили на месте.

Федератовна же лежала десять дней, больная животом и поносом, и только терла десны во рту, не имея зубов, чтобы ими скрипеть.

Височковский лично производил вскрытие коров и нашел причиной их смерти крупную неочищенную картошку, которую им скормили либо нештатные пастухи, либо неизвестные подкулачники. Височковский призвал к павшим коровам выздоравливающую Федератовну и, заплакав редкими слезами, жалобно сказал:

— Я не могу больше служить в таком учреждении!.. Я специалист, я никаких родных в мире не имею, а здесь животных воспитываю, а ваши кулаки их картошками душат, ваши колодцы сухими стоят... Если

кулаки у вас еще будут, а воды все мало и мало, я уеду отсюда. Я два года любил телушку Пятилетку, в ней уж десять пудов веса было, я мясного гения выращивал здесь, а ее теперь затоптали в очереди за водой! Это контрреволюция: я умру — или жаловаться буду!..

Федератовна скучно поглядела на Високовского, как глядела она обычно на беспартийных.

— Какие это наши кулаки, дурак ты узкий!.. Езжай на дальние степи стеречь гурты, я всех пастухов арестовала.

— Сейчас поеду,— вытерев лицо, смирно согласился Високовский.

Федератовна сняла с работы также Вермо и Кемаля вместе с их бригадами, рывшими котлованы под ветряную мельницу и еще под одно сооружение, смысла которого Вермо до приезда Босталоевой никому не говорил,— всю живую людскую наличность Федератовна бросила в мясные гурты. Сама же Федератовна села в таратайку и поехала без остановки в умрищевский колхоз.

В колхозе была тишина, из многих труб шел дым, слабый от безветрия и солнечной жары,— это бабы пекли блинцы; на дворах жили толстые мясные коровы и лошади, на улицах копались куры в печной золе и из века в век грелись старики на завалинках, доживая свою позднюю жизнь. Грустные избы неподвижно стояли под здешним старинным солнцем, как бедное стадо овец, пустые дороги выходили из колхоза на вышину окружающих горизонтов, и беззаботно храпели мужики в сенцах, наевшись блинцов с чухонским маслом. Еще на краю колхоза Федератовна встретила четырех баб, которые понесли в горшках горячие пышки в совхоз своим арестованным мужьям пастухам; однако те бабы, видно, не особо горевали, так как ихние туловища ходили ходуном от сытых харчей и бабы зычно перебрехивались.

Тоска неподвижности простиралась над почерневшими соломенными кровлями колхоза. Лишь на одном дворе ходил вол по кругу, вращая, быть может, колодезный привод; водило, к которому был привязан вол, оказалось слишком длинным, так что для вола требовался большой круг и ему разгородили соседние плетни; поэтому вол то выходил на улицу, то скрывался на гумно. Одинокий поющий звук ворота, вращаемого бредущим одурелым животным, был единственным нарушением в полуденной тишине дремлющего колхоза.

Федератовна остановила свою таратайку и пошла сквозь по избам: ее всегда возмущала нерациональная ненаучная жизнь деревень, устройство печек без правильной теории теплоиспользования, общая негигиеничность и классовое исхищрение зажиточных жителей.

В первой же избе, которую посетила Федератовна, была бьющая в глаза ненормальность: в печке стояли два горшка с жидкой пищей и бежали наружу, а баба сидела на лавке с чаплей и не принимала мер.

Федератовна как была, так и бросилась в печку и выхватила оттуда оба горшка голыми руками.

— Нет на вас образования, серые черти! — с яростью сказала Федератовна хозяйке.— Ведь жидкость-то расширяется от температуры, дура

ты обнаглелая,— зачем же ты воду с краями наливаешь: чтоб жир убегал?.. А в колхоз небось шла — брыкалась! Да как же тебя, домовую, образованию научить, если прежде всего единоличного демона твоего не задушить в тебе... У-у, анчихристы, замучили вы нашего брата!.. Дай вот я к тебе еще приду... Я еще погляжу, как ты в ликбез ходишь, какая ты общественница здесь, дура неумильная!..

Федератовна ушла с несчастным сердцем, а дворовая баба сначала обомлела, а потом ощерилась.

В другой избе Федератовна начала кушать молоко и сливки, и раскушала, что это совхозная продукция, отнюдь не колхозная: слишком высок процент жира, и пенка вкусна. Здесь старушка ничего не сказала, а только вздохнула с протяжностью и положила зло в запас своего сердца.

На следующем дворе мужик-колхозник экстренно помчался куда-то, не видя гостью, а гостья села на лопушок и обождала его; в запертом сарае в тот час кто-то томительно рыгал и давился, и вскоре оттуда же стали доходить мучительные звуки расставания с жизнью. Федератовна подошла к сараю и заметила в прореху, что там терзается корова, и еще две коровы стоят около нее, облизывая языками ее уже утомляющееся смертью лицо. В тот момент мужик примчался обратно: он держал в одной руке топор, а в другой квитанцию, и, отперев коровник, умертвил свое животное топором, зажав квитанцию в зубах. Кончив дело, мужик засунул руку в пасть коровы и вынул оттуда громадную размятую картошку, обмоченную кровью и слизью.

В эти моменты некоторые жители уже управились заметить таратайку Федератовны, и зажиточные ребятишки летали по дворам, предупреждая, кого нужно, что появилась сама старуха, чтоб все сидели смирно, а остаточное кулачество пусть прячется в колодцы. Спустя ряд мгновений в деревне потух ряд печек и несколько последних, исхищренных кулаков полезли по бурьянным гущам к колодцам и залезли в них по веревкам, а в колодцах сели на давно готовые, прибитые к шахте табуретки и закурили.

Федератовна, как только вышла с последнего двора, как глянула своей зоркостью на изменившийся дух деревни, так у нее закипело все, что было внутри, даже съеденное кушанье.

Она пошла тогда к старому бедняку, своему другу Кузьме Евгеньевичу Иванову, который в тот час облеживался после работы.

Кузьма Евгеньевич со всей симпатией встретил старушку и открыл ей тайну умрищевского колхоза.

— Я ведь здесь как Союзкиножурнал,— сказал старик Кузьма, любивший туманные картины еще со старого времени: — Все вижу и все знаю... Тут что делается, кума, аж последняя теория замирает в груди!.. Дай-ка я тебе чайку погрею в чугуне.

Погрев чаю, бедный старик торжественно объявил, что он вчерашний день организационно покинул колхоз и стал революционным единоличником, ибо Умрищев учредил здесь кулачество.

Федератовна вцепилась здесь в бедняка старика и, склонив его книзу за отросток волос, начала драть оборкой юбки по заднице:

— Вот тебе, революционный единоличник! Вот тебе кулачество! Вот тебе Союзкиножурнал! Все видишь, все знаешь,— так не молчи,— действуй, бунтуй, старый сукин сын!.. Вот тебе теория, вот тебе — в груди она замирает! Не будь, не будь,— либералистом не будь! Старайся, старайся, активничай, выявляй, помогай, шагай, не облеживайся, не единоличничай,— суйся, суйся, суйся, бодрствуй, мучитель Советской власти!..

Укротившись в этом бою и выпив чаю, чтоб не пропадала кипяченая вода, Федератовна пошла проверять экономику колхоза. Она обнаружила, что на каждом дворе была полная живая и мертвая утварь,— от лошади до бороны, не говоря уже про пользовательных, про молочных или шерстяных животных. Что же, спрашивается, было обобществлено в этом колхозе?

Никакой коллективной конюшни или прочей общественной службы Федератовна не нашла, хотя и прощупала всю деревню сквозь, даже в погреба заглядывала и на чердаки лазила.

С этим непонятным мнением и бушующим сердцем Федератовна появилась к председателю Умрищеву. Умрищев, оказывается, жил в той самой избе, по усадьбе которой бродил вол, таская ярмо привода.

Умрищев сидел в занавешенной комнате, на столе у него горела лампа под синим абажуром, и он читал книгу, запивая чтение охлажденным чаем. Кроме лампы, на столе Умрищева кружился вентилятор и подавал в задумчивое лицо человека беспрерывную струю воздуха, помогающую неустанно мыслить мыслителю. Зная науку, Федератовна расследовала действие вентилятора и нашла, что он крутится силой вола, гонимого погонщиком, который ходил во след животному с лицом павшего духом; вол передавал свою живую мощь на привод, а от привода шли далее — через переходные оси — канаты, за канаты были привязаны веревки, а уж вентилятор вращала суровая нитка.

— Здравствуй, негодный! — сказала Федератовна.

— Здравствуй, старушка! — ответил Умрищев.— Что это тебя носит по всей территории?! Ты бы лучше жила в сидячку и берегла силу и голову.

— Ты что это?.. Где у тебя тут диалектика в действии? Ты что — ты кулачество здесь рожаешь?.. Я все, батюшка, знаю, и все, батюшка, видела!.. Замолчи, несчастный схематик,— сейчас тебя тресну!

— Садись,— сказал Умрищев, держа одну руку близ утомившейся головы, а другую кладя на зачитанную страницу,— садись, старушка: в стоячку я не говорю... Ты у меня видела отсутствие обезлички — первый этап моего руководства.

— Какое такое отсутствие обезлички? — как молодая затрепетала вся Федератовна.— А ты знаешь, что твои колхозники пастухами у нас были, что они коров наших в гроб кладут, целые гурты твои бабы обдаивают, что...

— Ты не чтокай, старушка,— возразил Умрищев,— ты тверже руководи, соблюдай классовую политику в отношении рабсилы и держись четче на своем посту.

Старуха подвигала пустыми деснами во рту и даже вымолвить ничего не смогла от напора ненавистных чувств.

— Ты погляди на мое достижение,— указывал со спокойствием духа Умрищев,— у меня нет гнусной обезлички: каждый хозяин имеет свою прикрепленную лошадь, своих коров, свой инвентарь и свой надел — колхоз разбит на секции, в каждой секции — один двор и один земельный надел, а на дворе — одно лицо хозяина, начальник сектора.

— А чьи же это лошади у твоих хозяев?

— Ихние же,— пояснил Умрищев,— я учитываю чувственные привязанности хозяина к бывшей собственной скотине: я в этом подходе конкретный руководитель, а не механист и не богдановец.

Старуха дрогнула было от идеологической страсти, но с мудростью сдержалась.

— Старичок, старичок,— слабо сказала она,— а в чем же колхоз у тебя держится?

— Колхоз держится только во мне,— сообщил Умрищев.— Вот здесь,— Умрищев прислонил ладонь к своему лбу,— вот здесь соединяются все противоречия и превращаются силой моей мысли в ничто. Колхоз — это философское понятие, старушка, а философ здесь я.

— А все у тебя состоят в колхозе, старичок?

— Нет, бабушка,— пояснил Умрищев,— я не держусь абсолютных величин: все абсолютное превращается в свою противоположность.

— Покажи-ка мне классовую ведомость,— спросила Федератовна.

Умрищев показал графу на бумаге, что двадцать девять дворов бедных и маломощных хозяев не состояло в колхозе — они отписались назад с приходом Умрищева, а всего в деревне было сорок четыре двора.

Федератовна вскочила с места, всем своим округленным телом собираясь вступить с Умрищевым в злобное действие, но в дверь вошел в валенках чуждый человек.

— Здравствуй, товарищ Умрищев,— у меня горе к тебе есть! — сказал пришедший.

— Горе? — удивленно произнес Умрищев.— Для теоретического диалектика, товарищ Священный, горе всегда превращается в свою противоположность: горя боятся только идеалисты.

Священный, конечно, согласился, что горе для него не ужас, однако у него прокисли прошлогодние моченые яблоки в кооперативе и стали солеными, как огурцы, а морковь пролежала свою сладость и приобрела горечь.

— Это прекрасно! — радостно констатировал Умрищев.— Это диалектика природы, товарищ Священный: ты продавай теперь яблоки как огурцы, а морковь как редьку!

Священный жутко ухмыльнулся своим громадным пожилым лицом, на котором лежали следы возраста и рубцы неизвестных побоищ;

он с непонятной жадностью поглядел на старушку, а затем сразу захохотал и умолк с внезапным испугом, точно ощутив какое-то свое, контрольное, предупреждающее сознание. От его смеха по комнате понесся нечистый воздух изо рта, и понятно стало, какую мощную жрущую силу носил в себе этот человек, как ему трудно было жить среди гула своего работающего организма, в дыму пищеваренья и страстей.

Священный сел на скамейку в отдышке от собственной тяжести,— хотя он не был толст, а лишь громаден в костях и во всех отверстиях и выпуклостях, приноровленных для ощущений всего постороннего. Сидячим он казался больше любого стоячего, а по размеру был почти средним. Сердце его стучало во всеуслышание, он дышал ненасытно и смотрел на людей привлекающими, сырыми глазами. Он, даже сидя, жил в целесообразной тревоге, желая, видимо, схватить что-либо из предметных вещей, воспользоваться всем ощутимым для единоличной жизни, сжевать любую мякоть и проглотить ее в свое пустое, томящееся тело, обнять и обессилить живущее, умориться, восторжествовать, уничтожить и пасть самому смертью среди употребленного без остатка, заглохшего мира.

Священный вынул рукой из мешка, пришитого к своим штанам, кашу, съел четыре горсти и начал зажевывать ее колбасой, изъятой из того же мешочного кармана; он ел, и видно было, как скоплялась в нем сила и надувала лицо багровой кровью, отчего в глазах Священного появилась даже тоска: он знал, как скудны местные условия и насколько они неспособны удовлетворить его жизнь, готовую взорваться или замучиться от избытка и превосходства. Надувшись и шумя своим существом, Священный молча жевал, что лежало в его кармане.

Умрищев, вспомнив про пищу и про то, что мысль есть материалистический факт, попросил у Священного пищи. Священный так чему-то обрадовался, что выбросил, как рвоту, жеванное изо рта и вынул из бокового мешка кривой кусок колбасы, закопченный на огне. Умрищев без внимания взял колбасу, но Федератовна, как глянула на этот продукт, так завизжала, как девушка, и зажмурилась от срама: она узнала бычий член размножения, срезанный у производителя совхоза.

Умрищев же, начитавшись физико-математических наук, ничем теперь не брезговал, поскольку все на свете состоит из электронов, и съел ту колбасу.

Открыв глаза, Федератовна бросилась энергично на Умрищева и укусила его; однако ж благодаря беззубию старушки Умрищев не узнал боли и подумал, что в старухе загорелись стихии остаточных страстей — преддверие гроба. Захохотавший, развонявшийся Священный также получил укус Федератовны, но он лишь обрадовался, почувствовав укус старухи.

На столе Умрищева остановился вентилятор; в дверь пришел сонный, унылый погонщик с топориком и сказал, что вол был сытый и здоровый, но скучный последнее время и умер сейчас: наверно, от тоски своего труда для ненужного человека.

— Я теперь кандидат партии и ухожу со двора,— сказал погонщик.— Бабушка,— обратился он к Федератовне,— ты с совхоза, возьми меня туда.

— А что с тобою такое, родимец? — спросила Федератовна.— Чего ты прежде не сигнализировал, какой ты кандидат партии!..

— Мне, бабушка, неважно тут стало, у меня сердце испортилось от них и ум уморился...

— А отчего ж у тебя сердце-то испортилось?

— От них,— сказал вентиляторный батрак.— У них такая наука, чтоб бить совхоз и твердеть зажиточному единоличнику... Мишка Сысоев двух телок у совхоза свел,— а ты не знала,— он члену кооперации товарищу Священному их на фарш продал, в кооперации товарищ Священный постоянно фарш на машине крутит, раньше хотел сосисочную фабрику открывать — теперь войны ожидает... Мишка Сысоев и Петька Голованец в пастухах были у тебя и хотели коров увезть: они порезали их на степи, а товарищ Священный обещал им лошадь, потом подрался с нею и убил лошадь,— коров черекнули, а везти не на чем, тут ты поймала пастухов и в амбар заперла. Они теперь сидят, кричат,— им там мочи нету, а бабы им блинцы пекут из твоего молока, а мука своя...

— Я не давал установок бить совхоз! — вскричал Умрищев.— Я теоретик, а не практик: я живу здесь лишь как исторически заинтересованная личность, а в последнее время перехожу на точные науки, в том числе на физику и на изучение бесконечно больших тел! Это клевета классового врага на ряды теоретических работников!

Священный по-страшному и беспрерывно хохотал, а Умрищев глубоко, но чисто теоретически, возмущался.

На дворе же все время шел жаркий день, стареющий в ветхой пустынной пыли, покрытый чадом тления местной почвы, и весь колхоз находился в этой туманной неопределенности атмосферы.

— Ведь здесь же была ликвидация кулачества: кто же тут есть? — узнавала Федератовна, держа бдительный взгляд на всех присутствующих людях.— Где же тут сидит самый принципиальный стервец?

— А здесь они,— вяло показал погонщик на Умрищева и Священного,— а под ними зажиточные остатки, которые жир наживают на твоей говядине с совхоза. У тебя за год сто коров семнадцать дворов съели — и мало, а ты один обман знала...

Федератовна на вид не удивилась, только подернулась гусиной кожей возбуждения.

— А чего ж бедняки-колхозники глядели и молчали? — спросила она.

— А это же я и есть бедняк-колхозник,— с собственным изумлением сказал погонщик, сам в первый раз подумав, кто он такой.— Как же я молчу, когда я весь говорю. На́ тебе топорик, а то товарищ Священный сейчас убьет тебя.

Священный, чуть двинувшись, схватил погонщика вентиляторного вола поперек и начал давить его слабое тело до смерти, но погонщик стукнул его топором в темя незначительным ударом уставших рук, и оба человека упали в мебель. Умрищев, вообще не склонный к практике действий, обратил внимание Федератовны на полную неуместность происходящего факта. Тем временем лежачий Священный был далеко не мертвый и пробил ногами стену на улицу, высунувшись конечностями в деревню, но уже обратно он не мог подобрать свои ноги, потому что погонщик терпеливо дорубал голову своего врага.

Федератовна взяла погонщика за руку и увела его на двор. Погонщик напился на дворе воды, поглядел на оставшийся без Священного мир и повеселел:

— Это я работал на жаре без шапки, у меня голова ослабела и я тебе знать ничего не давал. Как буду на совхозе работать, так куплю себе шапку.

— Нет, малый,— сказала Федератовна,— ты в совхозе не будешь работать... Ты зачем, поганец, человека убил? Что ты, вся Советская власть, что ли, что чуждыми классами распоряжаешься? Ты же сам — одна частичка, ты хуже электрона теперь!

Погонщик помутился на вид и опустил рано стареющую голову.

— Это, бабушка, от жары: мне голову напекло... Дай я вот шапку куплю!

Федератовна пригнула погонщика и погладила его лохматую голову.

— Нет, ты брешешь,— голова у тебя нормальная...

На околице колхоза встал вихрь кругового ветра и поднял с земли разные предметы деревенского старья. Позади вихря шла, не колеблясь, прочная туча дорожной пыли. Это двигалось добавочное стадо в «Родительские Дворики», уже многие сутки одолевая пешком полтораста верст. Позади стада ехали на волах гуртовщики и ели арбузы от жажды.

Федератовна отправила убийцу-погонщика в совхоз со стадом и велела ждать ее, а сама села в таратайку и направилась в район, в комитет партии.

В районе Федератовна не застала секретаря партии — он умер вскоре после свидания с Босталоевой, потому что у него вскрылась от истощения тела внутренняя рана гражданской войны.

Новый секретарь, товарищ Определеннов, уже знал курс дела в умрищевском колхозе и еще имел в своем распоряжении всю картину бушующих капиталистических элементов, окружающих «Родительские Дворики».

А сейчас он грустно жалел, что не управился лично объездить колхозы умрищевского влияния, когда даже старушка мчится неустанно в таратайке по степи и действует энергичной силой.

Федератовна начала обижать Определеннова упреками, что он хуже покойника и руководит районом из своего стула, что он скатится в конце концов в схематизм и утонет в теории самотека. Секретарь, хотя

и чувствовал свое слабое недовольство, все-таки радовался наличию таких старушек в активе района.

— Бабушка,— сказал с любовью к ней Определеннов,— Умрищева мы сегодня обсудим на бюро и отдадим из партии к прокурору, а тебя мы перебрасываем из совхоза на место Умрищева. Ты согласна?

Федератовна почувствовала было тоску, но сознание враз справилось в ней с ничтожным чувством личности, и она сказала:

— Согласуй с директором и пиши путевку, товарищ Определеннов... Либо социализм, либо нет,— ведь вот вопрос-то!

Отвернувшись, Федератовна, как всякая рядовая бабка из масс, вытерла в знак огорчения свои глаза краем кофты — она чувствовала свое расставание с Босталоевой.

— Ты это что? — спросил Определеннов.

— Ты пиши, ты пиши наше партийное, а это мое старое бабье выходит наружу.

— Да то-то! — сказал Определеннов, предначертывая какую-то повестку дня.— А я думал, ты горюешь о чем-то.

— Да-то, ништ, не горюю, да-то, ништ, не скучаю! — закричала вдруг Федератовна.— Иль я безгрудая, бездушная, нездешняя какая!.. Родные мои Дворики, Надюшка моя, товарищ Босталоева, отымает меня Умрищев-злодей, уж смеркается сердце мое, схоронилися вы за дорогою...— и, склонившись плачущим лицом на стол секретаря, старуха заголосила на весь районный центр.

Через час терпеливый Определеннов спросил у нее:

— Ну, как, бабушка?

— Обсохла уж,— ответила Федератовна.— Давай инструкцию на ликвидацию умрищевской школки.

Определеннов длительно улыбнулся и не стал учить умную и чувствительную старушку, поскольку она сама уже постигала все.

* *
*

Надежда Босталоева возвратилась в «Родительские Дворики». Она приехала тихо, в вечерние часы, на подводе привокзального единоличника.

Не доезжая двух верст, Босталоева остановилась. В совхозе стояла неизвестная башня, емкая и полезная по виду, хотя и невысокая по размеру. Закат солнца освещал темный материал местного происхождения, из которого была построена башня. Кроме башни, в совхозе был еще огромной силы и величины ветряк, при этом он крутился сейчас в пустоте совершенно тихого воздуха.

Подъехав еще ближе, Босталоева убедилась, что землебитных жилых домов в совхозе уже нет, а также не было никаких других следов прежних обжитых «Родительских Двориков» — ни шелюги, ни знако-

мых предметов в виде тропинок, лопухов и самородных камней, доставленных сюда неизвестной силой,— теперь была лишь развороченная грузная земля, как битва, оставленная погибшими бойцами.

— Что здесь такое? — с испугом спросила Босталоева.— Где же мой совхоз?

Возчик-единоличник объяснил ей, что совхоз должен быть тут.

— А это просто какие-то факторы! — сказал возчик на башню и мельницу.— Теперь ведь много факторов в степи, а я живу около транспорта, я отсюда дальний. Транспорт тот я знаю: тара 414 пудов, нетто, диаметр шейки, тормоз Казанцева, закрой поддувало и сифон. Автоблокировка, три свистка дай — ручные тормоза, два — освободи обратно, багаж принимается при наличии проездного билета,— а степь я не люблю: это место для меня как-то почти что маловероятное, я люблю больше всего вагоны парового отопления и еще сторожевые будки. В будках хорошо живется сторожевому человеку: кругом тихо, работы мало, мимо поезда мчатся, выйди и стой себе с сигналом, а потом осмотри свой участок и заваривай себе кашу...

Босталоева со вниманием посмотрела на этого случайного, преходящего для нее человека: как велика жизнь, подумала она, и в каких маленьких местах она приютилась и надеется...

В снесенном совхозе ходили четыре вола по взбугренной почве и крутили мельницу наоборот, то есть не текущий воздух вертел снасть, а живая сила вращала снизу крылья в воздухе. Босталоева с удивлением спросила у Кемаля, радостно созерцавшего такое разорение, что это означает.

Кемаль, назначенный к этому дню секретарем ячейки, подал Босталоевой разросшуюся от работы руку и сказал:

— Это мы притирку частей делаем, чтоб механизм обыгрался на ходу: новый паровоз тоже сам себя сначала не тянет, пока не обкатается...

Около мельницы гонял волов инженер Вермо, обнищавший в одежде и успевший постареть за истекшее время. Он было обрадовался, что видит Босталоеву, но вдруг задумался другим нагрянувшим на него сомнением:

— Надежда Михайловна,— сказал он,— что если мы ликвидируем всех пастухов, а коров поручим быкам. Високовский мне говорил, что бык это умник, если его приучить к ответственности: субъективно бык будет защитником коров, а объективно — нашим пастухом! Штатное многолюдство, это отсталость, Надежда Михайловна: нам надо поменьше людей — в республике слишком много работы... Федератовна арестовала кулацких пастухов, а нам их теперь негде держать — их связал Климент веревкой от бегства и увел в районную тюрьму. Говорят, пастушьи бабы защекотали Климента в степи, а бабьи мужья разбежались. Динамо-машину мы получили, но без вас было скучно...

Инженер говорил что попало, пробрасывая сквозь ум свою скопившуюся тоску. Босталоева ничего не ответила Вермо: она настолько уто-

милась от своих действий в городе, от впечатлений исторической жизни, от своего сердца, отягощенного заглушенной страстью, что уснула вскоре в тени неизвестной башни, молчаливо обидевшись на всех.

Проснулась она вечером, покрытая от росы и ночного холода разной одеждой.

Вблизи от Босталоевой сидели шестнадцать человек, среди них были Кемаль, Вермо и Високовский, и все они ели пищу из одного котла.

— Сломали весь совхоз, а сами кашу едят! — сказала Босталоева.— Сволочи какие!.. Кто из вас первый начал землю здесь рыть, здоровы ли гурты, где Федератовна-старушка?.. Кемаль, ты за чем тут глядел, кто эти люди сидят? Я прямо удивляюсь: какие вы малолетние! А я думала, вы и вправду коммунисты!

— Мы-то? — прохаркнувшись от мелкой каши с молоком, произнес Кемаль.— Мы-то не коммунисты? Ах ты, дура-девчонка! Я старый кузнец и механик, я не смеялся тридцать лет, а вот пришел инженер Вермо, открыл нам пространство науки — и я улыбнулся на твой совхоз из землянок! Ты же все лозунги извращаешь, ты с природой, ты с отсталостью примирялась здесь,— нервная ничтожность такая!.. Ты уехала, старуха твоя пропала — тоже советская наседка такая — и мы втроем,— Кемаль показал еще на Вермо и Високовского,— мы сказали твоему старушьему совхозу: прочь, ты не дело теперь! — И не было его в одну ночь! Надо трудиться, товарищ директор, не за лишнюю сотню тонн говядины, а за десять тысяч тонн!.. Ты девчонка еще в глазах техники!

«Отчего у нас люди так быстро развиваются? — подумала Босталоева, заново разглядывая Кемаля.— Это прямо превосходно!»

Другие рабочие, оказавшиеся на проверку бедняками, сбежавшими из умрищевского колхоза, также начали стыдить Босталоеву за ее недооценку башни, мельницы и дальнейших перспектив.

Високовский взял Босталоеву, как женщину, под руку и повел ее в башню. Босталоева молчала. Вермо глядел ей вслед и думал, сколько гвоздей, свечек, меди и минералов можно химически получить из тела Босталоевой. «Зачем строят крематории? — с грустью удивился инженер.— Нужно строить химзаводы для добычи из трупов цветметзолота, различных стройматериалов и оборудования!»

Башня была сложена из сжатых, сбрикетированных ручным прессом глино-черноземных кирпичей и представляла собою вид усеченного конуса.

В сенях башни находилось особое стойло,— оно хоть и не имело еще арматуры, но это было то же, что электрический стул для человека,— место смертельного убийства животных высоким напряжением. Високовский и Вермо не хотели портить качества мяса предсмертным ужасом и безумной агонией живого существа от действия механического орудия. Наоборот, животное будет подвержено предварительной ласке в электрическом стойле, и смерть будет наступать в момент наслаждения лучшей едой. Внутренность башни была выложена досками

в тесную пригонку, а доски покрыты слоем клеевого лака, непроходимым для электричества.

— Вы понимаете, что это? — спросил Високовский.

— Нет, я не понимаю,— сказала Босталоева.— Ведь дожди же размоют эту земляную каланчу.

— Толщина кладки земляных брикетов здесь такая, Надежда Михайловна,— объяснил Високовский,— что нужно десять лет ливней, чтобы вода смыла башню...

Вид животных, гонимых сквозь пространства пешком в города на съедение, или даже запертых в неволю вагонов, всегда приводил Високовского в душевное и экономическое содрогание. Коровы, и особенно быки, слишком впечатлительные, чтобы переносить железнодорожную езду, вид городов и ревущую индустриализацию. У животных расстраиваются нервы, они высыпают беспрестанно из себя навоз и теряют съедобный вес. Сосчитано, что при езде в вагоне на тысячу верст коровы худеют на десять и больше процентов, а быки вовсе тают, тоскуя, что им уж никогда теперь не придется случаться.

Если «Родительские Дворики» отправят в течение года две тысячи тонн коров, то двести, а может быть, и четыреста тонн наиболее нежного мяса будет истрачено в пути благодаря похудению животных. Кроме того, коровы могут вовсе умереть в дороге. Эти двести или четыреста тонн говядины должен сохранить электрический силос, построенный как башня. Коровьи туловища разрубаются на сортовые части и загружаются в башню. Затем небольшое количество высоконапряженного тока пропускается сквозь всю массу говядины, и говядина сохраняется долгое время, даже целый год, в свежем и питательном состоянии, потому что электричество убивает в нем смертных микробов.

По мере надобности мясо накладывается в приспособленные кадушки с выкачанным воздухом и отправляется в города. В дальнейшем следует вокруг электрического силоса развить комбинат с тем, чтобы на месте обращать мясо в фарш, колбасу, студень, консервы и отправлять в города готовую еду.

У Босталоевой после разговора с Високовским сжалось сердце, что она еще не инженер и ей нужно излишне любить Вермо.

Високовский развил перед директором еще ряд мер, обдуманных им совместно с Вермо и Кемалем, для резкого накопления мяса в совхозе, а Босталоева молча думала о новом техническом большевизме, которому уже не соответствует ее ум.

Здесь в башенные сени вошла бывшая совхозная кухарка, не знавшая, куда теперь ей деться, когда все сломали, когда из металлических ложек мужики сделали проволоку, суповые котлы раскатали в листы, когда даже ушные сережки вынули у нее и расплавили их в олово,— эта печальная бесхозная женщина, лишенная бытового состояния, сказала, что движется новое стадо из какого-то дальнего пункта: идите его встречать и организуйте поскорее баб из степи, потому что некому обдаивать скотину, а из нее уж капает молоко в землю.

Босталоева и Високовский вышли из сеней башни и увидели погонщика умрищевского вентиляторного вола; погонщик прибежал первым, чтобы осознать новое место своей жизни и сообщиться.

* *
*

Устроив вновь прибывшее стадо на участок степного разнотравья, открытый недавно Високовским около одного дальнего одичавшего колодца, Босталоева возвратилась ночью в совхоз. Вермо играл на гармонии, а Кемаль плясал с тем выражением, словно хотел выветрить из себя всю надоевшую старую душу и взять другой воздух из дующего ветра.

Странно и опасно было видеть костер в степной темноте, веселых людей, крылья могучей мельницы, башню и слушать, как всеобщий человеческий голос, прекрасную музыку, всегда соответствующую намерению борющихся большевиков. Босталоева вошла в среду людей и стала танцевать по очереди со всеми товарищами, пока не перепробовала всех; только Вермо, как занятый музыкант, не мог потанцевать с Босталоевой, но зато она, двигаясь, обещала ему достать агрегат для бурения на ювенильное море, и Вермо с энергией радости начал еще лучше играть на гармонии. Один погонщик вентиляторного вола стоял в стороне, не примкнув к дружбе и музыке, но и его Босталоева взяла в дело танца, отчего погонщик весь заухмылялся и уж заранее согласен был положить всю свою силу на совхозном строительстве — настолько он мало еще видел нежности в жизни. Танцуя, погонщик нюхал подругу-директора и наслаждался своим достоинством, нужностью и равенством с высшими друзьями, а Босталоева глядела на него близко и улыбалась ему в лицо своей улыбкой серьезной искренности, своими спокойными верными глазами, и погонщик чувствовал ее легкую руку на своем плече, привыкшем к тяжести и терпению.

Глядя на танцующих, Вермо успел уже продумать вопрос о рационализации отдыха и счастья, а сам не мог победить в своем сердце чувства той прозрачной печали, которая происходила от сознания, что Босталоеву может обнять целый класс пролетариата, и она не утомится, она тоже ответит ему со страстью и преданностью.

Вскоре погонщик умрищевского пола заржал от радости не своим голосом — женским басом, и танец постепенно прекратился, поскольку долгое веселье превращается уже в скорбь.

Наступила полночь; воздух начал прозябать от росы и отсутствия солнца, и всем людям, всей технической бригаде Вермо и Кемаля захотелось спать и согреваться. Тут же стало известно, что вся теплая одежда ушла со вновь нанятыми пастухами на пастбища, на месте была только одна громадная кошма, метров в десять или пятнадцать длины. Все влезли под ту кошму, а Босталоеву положили в середину, чтобы ей

было теплей, и ближние соседи отодвинулись от нее, желая дать Босталоевой больше дыхания и свободы, если она будет шевелиться во сне.

Наутро в совхоз приехала в таратайке Федератовна, и с ней прибыл в качестве кучера секретарь райкома Определеннов. Старушка еще издали закричала от злости, решив, что умрищевцы управились украсть без нее весь совхоз.

— Подожди ты шуметь, убогая,— остановил ее Определеннов, не терпевший никакого визга на земле, как знака бессилия.— Побольше спокойствия, бабушка, нам ничто не страшно.

Застав под кошмой население совхоза, Определеннов стянул со спящих кошму, и они сразу проснулись, как оголтелые.

Опомнившись, видя недовольство старухи и секретаря, Вермо начал порочить естественное самотечное устройство природы и потворство этому оппортунистическому устройству со стороны администрации совхоза, например, разве земляночно-землебитная и деревянная форма совхоза не есть ненависть к технике? — Разве можно получить мясо от полуголодного, непоенного скота, бродящего в печали по пище десятки верст ежедневно? — и мы снесли в ночь всю совхозную убогость, дабы освободить мебель с утварью и взять из них гвозди, доски и прочие материалы для истинной техники, для утроения продукции совхоза!

— Он прав вполне,— с неопределенной грустью сказал Кемаль.

— Вы еще понятия не имеете о большевистской технологии,— говорил Вермо среди летнего утра, неумытый и постаревший от темна своих размышлений,— у вас нет органического ощущения техники как первого чувства своей жизни...

Федератовна, осознав, что кто-то хотел обидеть науку, враз стала на точку яростной защиты Вермо и приветствовала речью башню и мельницу.

Определеннов смеялся над старушкой и был рад, что в «Родительских Двориках» под видом чувственного восторга происходит на самом деле социалистическое скотоводство, превозмогающее все существующее на свете на этот счет.

— Говори теперь ты, Високовский,— предложил Определеннов.

— Хотя я зоотехник,— сказал Високовский, желая выявить чем-нибудь охватившую его радость зоотехнического творчества, хотя бы тем, что покаяться,— хотя моя дисциплина долгое время была заражена невежественным оппортунизмом, и вредительством, и взглядом на зоологию как на мягкую какую-то, тихую науку, где все гармонично и эволюционно, но я заявляю, что советская зоотехника немыслима без металлургии, без машиностроения, без электрификации, потому что только железо и огонь добудут нам воду в сухих степях, потому что лишь тонкая пульсация электричества, приближающаяся по нежности и остроте своего факта к жизненным явлениям, к зоологии, лишь она, эта пульсация, игра солнечной энергии в атомной глубине материи, как определяет Николай Эдвардович Вермо, лишь она даст нам излишний нарост мяса на костях животных, позволит нам рационально забить скот, сохра-

нить его без потерь и отлично транспортировать. Затем я предлагаю уничтожить немедленно текучесть рабсилы...

— Как конкретно? — спросил Определеннов, вслушиваясь с полным сердцем в слова специалиста.

— Уничтожить ее как текучесть, как пережиток разрыва города с деревней... Нужно ввести скользящую шкалу профессий, чтобы пастух был обучен строительству и мог быть плотником зимой, или еще чем-либо, чтобы человек обнимал своим уменьем несколько профессий и чередовал их во времена года... Каждый трудящийся может и обязан иметь хотя бы две профессии, — наш Кемаль имеет их целых четыре, — это даст десятки тысяч экономии по одним «Родительским Дворикам»... Да здравствует наша жизнь и наш напряженный труд для всех товарищей... как дальних, так и близких! — неожиданно кончил скромный Височковский и медленно покраснел, почувствовав свою заключительную патетическую бестактность.

— Да здравствуют наши социалистические специалисты! — громко сказал Определеннов, чтобы уничтожить краску ложного смущения с лица Височковского.

Но Височковский покраснел еще гуще, и все засмеялись, а Босталоева смеялась до тех пор, пока у нее не вышли слезы, блестевшие на свете солнца, как роса, на черной траве ресниц. Все люди поглядели на глаза Босталоевой, а Вермо сказал:

— Я ручаюсь, что не каждый еще сумеет умереть из нас, как наступит высший момент нашей эпохи: нам тогда потребуется лишь построить оптический приемник-трансформатор света в ток, как мы сейчас строим радиоприемники, и через него к нам польется бесконечная электрическая энергия — из солнечного пространства, из лунного света, из мерцания звезд и из глаз человека... Вот какая проблема, товарищи, сидит в одном взоре Босталоевой, а вы увидели ее глазами полового мещанства: так ведь никуда не годится!

— Глянь в мои глаза, — попросила Федератовна. — У меня там горит электричество иль потухло?

Вермо поглядел в старушечьи очи.

— Плохо горит, — сказал инженер, — у тебя бельма растут.

Федератовна сразу оценила было этот факт, как заглушенную вылазку классового врага, но потом пошевелила деснами и передумала.

— Пусть растут, — согласилась старуха, — я и видеть не буду, так почую. А ты научный левак!

— Погоди судить, бабушка, — сказал Определеннов. — У них уже есть дела, а ты говоришь слова... Давайте, товарищи, наметим план технической реконструкции «Родительских Двориков».

Здесь же, на общей кошме, и был составлен перечень главных мер, а именно:

Название работы	Цель ее	Фамилия бригадира и срок исполнения	Полезный эффект и примечания
1	2	3	4
1. Закончить постройкой электродвигатель; установить динамо; смонтировать трансмиссионную передачу; провести электрическую сеть.	Зимой: отопление скотных баз и рабочих жилищ, подача жара на кухню. Летом: давать силу на насос и на брикетный пресс.	Вермо. 2 месяца	300 тонн добавочной говядины. На 100 руб. топлива. Уничтожение жажды на центральной усадьбе.
2. Электротехнический монтаж силосной башни и убойного стойла.	Заготовка свежей говядины в долгий прок.	Височковский, консультация Вермо. 1 месяц.	Не менее 400 тонн мяса. При отсутствии ветра питать башню следует от воловьего привода ввиду малого количества тока, потребного для башни.
3. Пресс для брикетирования коровьей желудочной продукции.	Решение степной топливной проблемы.	Кемаль.	Экономия 2000 руб., которые должны быть истрачены на покупку стороннего топлива.
4. Приобрести, перепроектировать, переделать 2 вольтовых агрегата разной мощности.	Электрическим пламенем меньшего агрегата резать камень в карьерах и сваривать их вновь на месте кладки с целью постройки цельнолитых жилищ для людей и скота. Мощным агрегатом прожигать скважины в глубину земного шара, дабы вскрыть кристаллическую гробницу материнского моря, либо вообще достигнуть богатых запасов воды — взять оттуда количество влаги, достаточное для образования постоянного озера или степного моря. Параллельно бурить немедленно вольтовым огнем неглубокие водоносные скважины на всех пастбищах и зимних гуртах совхоза (малое водоснабжение).	Босталоева, Вермо. 3 месяца.	По строительству 50 тыс. р. По малому водоснабжению 40 тыс. р. в год. По большому водоснабжению (на материнское море): социалистический риск.

Продолжение

Название работы	Цель ее	Фамилия бригадира и срок исполнения	Полезный эффект и примечания
1	2	3	4
5. Изобрести и сконструировать оптический прибор для обращения солнечного света в электричество.	Получить энергию в степи и во всем мире из любой точки освещенной бесконечности.	Вермо, Кемаль, Босталоева.	Установление технического большевизма в «Родительских Двориках» и на всем открытом пространстве земли.
6. Сконструировать животноводческий комбайн на автомобильном шасси.	Быстрое обдаивание отдаленных гуртов и доставка сливок на совхозную маслобойку.	Височковский, Кемаль. 2 месяца.	18 тысяч рублей в год.

В седьмом, восьмом и девятом пункте плана назначались прочие виды работ.

Всякое мероприятие по этому плану должно иметь помощь и консультацию со стороны Института Неизвестных Топливных Масс. КрайВЭО. Института Дешевой Энергии. Варнитсо. Общества Глубокого Бурения и прочих соответствующих организаций.

* *
*

Через месяц или полтора в «Родительские Дворики» прибыли оборудование и материалы, занаряженные Босталоевой в крайцентре, и то потому, что Босталоева сама нашла свои заблудившиеся на железной дороге грузы и привела вагоны на ближайшую станцию. Иначе бы грузы могли вовсе осиротеть, приобрести безвестное состояние и их сейчас же присвоили бы себе агенты многочисленных строек, населявшие в то время все узловые пункты транспорта; эти агенты-снабженцы беспрерывно глядели волчьими глазами на потоки чужих грузов и только свою стройку считали действительно решающей для судьбы социализма, поэтому они прямо удивлялись, что кого-то еще снабжают, кроме них, и способствовали превращению блуждающих грузов в бесхозное сиротство, чтобы переадресовать их себе, пользуясь суетой всеобщего строительства.

Около того же времени в совхоз приехали два инженера из края: электрик Гофт и гидрогеолог Даев. Гофт был из Института Неизвестных Топлив, а Даев от Варнитсо и Общества Глубокого Бурения. Совместно с инженером Вермо они довели конструкторские идеи вольтового бурения до чертежного детального выражения и поправили различные упущения в устройстве башни, брикетного пресса и ветродвигателя.

Инженер Гофт уже не хотел уезжать из совхоза и остался в нем до окончания всех работ, а Даев и Босталоева отправились скорее в краевой город и в Ленинград, дабы найти подходящие электросварочные агрегаты; эти агрегаты были нужны для немедленного переустройства их на другую службу. Один из агрегатов должен успеть перерезать камни в карьере и сварить из этих камней жилища еще до наступления зимы.

Контора переустройства совхоза помещалась в сенях электросилосной башни, где все чертили, считали, спали и бредили от ночного воображения. Кемаль взял себе на учет такой бытовой недостаток и отправился в колхоз к Федератовне. Через четверо суток он привез из колхоза на волах шесть пустых изб, принадлежавших ранее кулакам, тем, что прятались в колодцы от старухи. Эти избы лишь в слабой степени повредились от транспорта и вполне оказались пригодными для размещения техперсонала и для ночлега технических бригад.

Инженер Вермо развернул фронт работ сразу — по всем сопротивлениям; главный же удар он сосредоточил на достройке и оборудовании электрической мясной башни, где производил весь монтаж лично.

Но рабочих было всего шестнадцать человек, и люди так умаривались, что не могли смыть водою свой пот и им не хватало сна для забвения усталости.

Однажды ночью Вермо сидел за столом и, скучая по Босталоевой, рассматривал ее книги. Вокруг Вермо спали люди на полу, от них пахло отработанной жизнью, их рубашки заживо сотлели на постоянно греющемся теле и рты были печально открыты, чтобы освежиться воздухом ночи и продуть насквозь свое туловище, зашлаковавшееся смертельными скоплениями немощи.

Кемаль лежал навзничь с омертвевшим видом лица; он сегодня в одиночку таскал бревна на верх башни, а вчера забивал якорные сваи для крепления ветродвигателя от зимних бурь.

В своем дыхании он плавно поднимал и опускал ребра, обросшие жилами тяжелой силы, и лицо его, хотя и было покрыто печалью утомления, но все же хранило в своем смутном выражении нежность надежды и насмешку над грубой тягостью жизни,— в этом Кемаль, хотя и незаметно, но походил на Босталоеву.

«Зачем он таскает бревна, зачем он не повесил блока и не заставил вола втянуть бревно на канате? — думал Вермо в тишине большого пространства.— Зачем вообще нам труд как повторенье однообразных процессов: нужно заменить его беспрерывным творчеством изобретений!»

Погонщик умрищевского вентиляторного вола спал вниз лицом. Он трудился по рытью земли для различных установок. Вермо решил завтра же сделать несколько конных лопат и рыть грунт силой волов или даже приспособить под это дело ветер.

Вермо не знал, есть ли у Кемаля и погонщика вентиляторного вола другая жизнь, эстетические вкусы и накопления на сберкнижке. Они были, наверно, безродными и превращали будущее в свою родину.

В вещах Бosталоевой Вермо нашел «Вопросы ленинизма» и стал перечитывать эту прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким,— потому что стиль был составлен из одного мощного чувства целесообразности, без всяких примесей смешных украшений, и был ясен до самого горизонта, как освещенное простое пространство, уходящее в бесконечность времени и мира.

Читая, Вермо ощущал спокойствие и счастливое убеждение верности своей жизни, точно старый серьезный товарищ, неизвестный в лицо, поддерживал его силу, и все равно, даже если бы погиб в изнеможении инженер Вермо, он был бы мертвым поднят дружескими руками на высоту успеха — и уцелевшие товарищи добудут из глубины земли материнское море и свет солнца превратят в электричество.

Под утро Вермо вышел наружу. Вращающаяся земля несла здешнее место навстречу солнцу, и солнце показывалось в ответ. Но Вермо не вдумывался в это явление, вдумываясь обычно во все, что попадалось; он слишком начитался за ночь и чувствовал себя сейчас недостаточно умным. Он отошел дальше в степь и лег в нее вниз лицом с настроением своей незначительности.

Откуда-то из участка к Вермо подошел Високовский. Он сказал, что снял с пастбищ двенадцать пастухов в помощь техническим бригадам, а коров поручил наиболее сознательным быкам; он уже делал опыты самоохраны и самокормления стад, приучая отдельных быков к определенному поголовью коров, организуя этим шагом бычьи семейства. И что же? — быки дерутся между собой, каждый желая обеспечить для своих коров лучшую траву и водопой, а коровы мирно пасутся и полнеют в теле. Если перейти на способ бычьих семейств, то можно вдвое сократить степной штат людей.

Вермо, не слушая, глядел на Високовского.

Затем он возвратился в избу, где по-прежнему спали рабочие; но лица их, освещенные зарею, приняли торжественное выражение. Вермо понял, насколько мог, столпов революции: их мысль — это большевистский расчет на максимального героического человека масс, приведенного в героизм историческим бедствием,— на человека, который истощенной рукой задушил вооруженную буржуазию в семнадцатом году и теперь творит сооружение социализма в скудной стране, беря первичное вещество для него из своего тела.

Эта идея неслышно растворена в книгах, прочитанных Вермо ночью, потому что ее нельзя услышать мелким сердцем индивидуалиста или буржуя.

В тот же день Вермо составил бригаду в семь человек и сам стал в ее ряды. Он хотел осуществить ставку на творчество пролетарского человека, с тем чтобы изобретение стало способом работы, чтобы не Кемаль таскал бревна, а ветер или вол; и чтобы работа шла на смысле, а не на грустном терпении тяжести, как работает мещанин капитализма.

К концу первой десятидневки в бригаде почти не применялся черный труд — его сменили деревянно-веревочные и железные приспособления, движимые животной силой волов.

* *
*

Через два месяца, уже осенью, прибыли из Ленинграда переделанные электросварочные агрегаты и другое необходимое оборудование. Одновременно с многочисленными машинами приехали Босталоева и инженер Даев.

Босталоева ехала от железной дороги через колхоз и привезла с собой смирившегося Умрищева, которого выслала Федератовна в совхоз для проверки в рабочем котле.

Умрищев был давно исключен из партии, перенес суд и отрекся в районной газете от своего чуждого мировоззрения. Он ходил теперь робко по земле, не зная, где ему место, долгие дни жил при Федератовне в качестве домашнего хозяина, чему Босталоева по невыясненной причине радовалась и смеялась на протяжении всей совместной дороги в степном фаэтоне, а Умрищев только сторонился от нее на узком месте сиденья.

Босталоева была несколько дней в Москве, в Скотоводобъединении, и привезла оттуда новость для всех рабочих: в «Родительских Двориках» организуется образцовый опытно-учебный мясокомбинат. Этот вопрос был поднят крайкомом партии и теперь всюду согласован и обдуман.

Спустя еще некоторое время в «Родительские Дворики» съехалось большое число людей из Москвы и краевого центра; они должны были участвовать в организации учебного мясокомбината и быть свидетелями первого в мире бурения земли вольтовой дугой, чтобы прожечь грунт до воды.

Инженер Вермо, как только получил вольтовый агрегат, уехал с ним в степь неизвестной дорогой, взяв с собой одного Кемаля.

Возвратившись через четверо суток, Вермо установил агрегат среди новостроящейся усадьбы совхоза; запустил мотор и направил фронт сияющего, шарообразного пламени вертикально в недра земли.

Делегация Москвы и края уселась к тому времени на скамьи вокруг воющего агрегата; столб едкого газа поднялся над плавящейся породой, обращающейся в магму, затем через полчаса раздался взрыв и наружу вырвался вихрь пара: это пламя вошло в массу воды и пережгло ее в пар. Вермо выключил агрегат.

Каждый из бывших здесь освидетельствовал сделанную скважину: она была неглубока, около трех метров, поскольку совхоз стоял в низменности, внутренняя поверхность скважины покрылась расплавленной,

застывшей теперь породой, что сообщало крепость колодцу от обвала, и внизу светилась вода. Затем Вермо и Кемаль, настроив пламя в острую форму, стали резать его лезвием заранее заготовленные самородные камни и тут же сваривали их вновь в монолиты, слагая сплошную стену, чтоб было ясно, как нужно строить теперь жилища людям и приют скоту.

* *
*

В глубокую осень из Ленинграда в Гамбург отплыл корабль. На борту корабля находились инженер Вермо и Надежда Босталоева. Они имели командировку в Америку сроком на полтора года, чтобы проверить там в опытном масштабе идею сверхглубокого бурения вольтовым пламенем и научиться добывать электричество из пространства, освещенного небом.

На берегу их провожали две фигуры небольших людей: Федератовна и Умрищев. Старушка приехала издалека, чтобы проводить Босталоеву и поплакать по ней на вечное прощанье, потому что она уже не надеялась прожить полтора года: слишком активно билось ее сердце всю жизнь, и оно устало.

Федератовна была одета в шляпу, которая сидела на ее голове, как чертополох; маленький смирный Умрищев держал под руку старую женщину и вытирал глаза белым платочком от сочувствия. Он еще в колхозе полюбил Федератовну за оживленность, за открытую страстность сердца, за беспощадность ее идейного духа, и старушка, будучи положительной женщиной, увлеклась постепенно терпеливым отрицательным старичком, так что они поженились в течение времени.

Корабль уплыл в водяные пространства земли. Вермо и Босталоева отошли от борта. Старичок и старушка остались на далеком берегу и долго плакали, глядя на горизонт, а потом приступили к взаимному утешению друг друга.

Вечером того же дня, ложась спать в гостинице, Умрищев долго кряхтел, предполагая и боясь высказаться.

— Мавруша, а Мавруш! — обратился он после томления к Федератовне.

— Чего тебе, старичок? — охотно спросила Федератовна.

— А что, Мавруш, когда Николай Эдвардович и Надежда Михайловна начнут из дневного света делать свое электричество, — что, Мавруш, не настанет ли на земле тогда сумрак?.. Ведь свет-то, Мавруш, весь в проводе скроется, а провода, Мавруш, темные, они же чугунные, Мавруш!..

Здесь лежачая Федератовна обернулась к Умрищеву и обругала его за оппортунизм.

1934 год

Андрей ПЛАТОНОВ

ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ
(Море юности)

Редактор А. Е. Басманов

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 17.12.86. Подписано к печати 23.02.87. А 00330. Формат 70×108[1]/32. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,42. Усл. кр.-отт. 2,98. Тираж 80000 экз. Изд. № 922. Заказ № 4239. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Цена 25 коп

Индекс 70668

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

- Участвуя в лотерее «Спортлото», вы вносите свой вклад в развитие физкультуры и спорта. Сотни спортивных сооружений в больших и малых городах страны построены с участием доходов этой спортивно-числовой лотереи.
- Тиражи «Спортлото» проводятся еженедельно
- Выигрыш — от трех до 10 000 рублей.
- Каждый билет участвует в тираже двумя игровыми вариантами. Он выигрывает, если с результатами тиража совпадут не менее трех зачеркнутых номеров в одном из вариантов.

Желаем удачи!

Главное управление спортивных лотерей Госкомспорта СССР